

BookLand

СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

Максим Горький

СКАЗКИ
ОБ ИТАЛИИ

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Максим Горький
СКАЗКИ ОБ ИТАЛИИ

I

В Неаполе забастовали служащие трамвая: во всю длину Ривьеры Кияя вытянулась цепь пустых вагонов, а на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов — всё веселые и шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы. Над их головами, над решеткой сада сверкает в воздухе тонкая, как шпага, струя фонтана, их враждебно окружает большая толпа людей, которым надо ехать по делам во все концы огромного Города, и все эти приказчики, мастеровые, мелкие торговцы, швеи сердито и громко порицают забастовавших. Звучат сердитые слова, колкие насмешки, непрерывно мелькают руки, которыми неаполитанцы говорят так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком.

С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают веерами темно-зеленых ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки — полуголые дети неаполитанских улиц — скачут, точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом.

Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орган; синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и крикам гулками ударами,— точно бубен гудит.

Забастовщики угрюмо жмутся друг ко другу, почти не отвечая на раздраженные возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связаны друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят, и это еще более раздражает толпу, но среди нее есть и философы: спокойно покуривая, они увещевают слишком ретивых противников забастовки:

— Э, синьор! А как быть, если не хватает детям на макароны?

Группами, по два и по три, стоят щеголевато одетые агенты муниципальной полиции, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движения экипажей. Они строго нейтральны, с одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и порицающих и добродушно вышучивают тех и других, когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьезных столкновений в узкой улице вдоль стен домов стоит отряд карабинеров, с коротенькими и легкими ружьями в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах, с красными, как две струи крови, лампасами на брюках.

Перебранка, насмешки, упреки и увещевания — всё вдруг затихает, над толпой проносится какое-то новое, словно примиряющее людей веяние, забастовщики смотрят угрюмее и, в то же время, сдвигаются плотнее, в толпе раздаются возгласы:

— Солдаты!

Слышен насмешливый и ликующий свист по адресу забастовщиков, раздаются крики приветствий, а какой-то толстый человек, в легкой серой паре и в панаме, начинает приплясывать, топая ногами по камню мостовой. Кондуктора и вагоновожатые медленно пробираются сквозь толпу, идут к вагонам, некоторые влезают на площадки,— они стали еще угрюмее и в ответ на возгласы толпы сурово огрызаются, заставляя уступать им дорогу. Становится тише.

Легким танцующим шагом с набережной Санта Лючия идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий офицер, с нахмуренными бровями и презрительно искривленным ртом, рядом с ним, подпрыгивая, бежит тучный человек в цилиндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными жестами.

Толпа отхлынула от вагонов — солдаты, точно серые бусы, рассыпаются вдоль их, останавливаясь у площадок, а на площадках стоят забастовщики.

Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат:

— Последний раз... Ultima volta!^[1] Слышите?

Офицер скучно крутит усы, наклонив голову; к нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь, и — раздались громкие слова команды.

Тогда солдаты стали прыгать на площадки вагонов, на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами.

Толпе показалось это смешным — вспыхнул рев, свист, хохот, но тотчас погас, и люди молча, с вытянутыми, посеревшими лицами, изумленно вытаращив глаза, начали тяжко отступать от вагонов, всей массой подвигаясь к первому.

И стало видно, что в двух шагах от его колес, поперек рельс, лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоновожатый, с лицом солдата, он лежит вверх грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий, как обезьянка, юноша, вслед за ним, не торопясь, опускаются на землю еще и еще люди...

Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие мадонну, некоторые мрачно ругаются, взвизгивают, стонут женщины, и, как резиновые мячи, всюду прыгают пораженные зрелищем мальчишки.

Человек в цилиндре орет что-то рыдающим голосом, офицер смотрит на него и пожимает плечами, — он должен заместить вагоновожатых своими солдатами, но у него нет приказа бороться с забастовавшими.

Тогда цилиндр, окруженный какими-то угодливыми людьми, бросается в сторону карабинеров, — вот они тронулись, подходят, наклоняются к лежащим на рельсах, хотят поднять их.

Началась борьба, возня, но — вдруг вся серая, пыльная толпа зрителей покачнулась, взревела, взвыла, хлынула на рельсы, — человек в панаме сорвал с головы свою шляпу, подбросил ее в воздух и первый лег на землю рядом с забастовщиком, хлопнув его по плечу и крича в лицо его ободряющим голосом.

А за ними на рельсы стали падать точно им ноги подрезали — какие-то веселые шумные люди, люди, которых не было здесь за две минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь, строили

друг другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками под носом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой.

А на рельсы всё сыпались люди, женщины бросали свои корзины и какие-то узлы, со смехом ложились мальчишки, свертываясь калачиком, точно озябшие собаки, перекатывались с боку на бок, пачкаясь в пыли, какие-то прилично одетые люди.

Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груды тел под колесами и — хохотали, качаясь на ногах, держась за стойки, закидывая головы вверх и выгибаясь, теперь — они не похожи на жестяные заводные игрушки.

...Через полчаса по всему Неаполю с визгом и скрипом мчались вагоны трамвая, на площадках стояли, весело ухмыляясь, победители, и вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая:

— Бильетти?!

Люди, протягивая им красные и желтые бумажки, подмигивают, улыбаются, добродушно ворчат.

II

В Генуе, на маленькой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа — преобладают рабочие, но много солидно одетых, хорошо откормленных людей. Во главе толпы — члены муниципалитета, над их головами колышется тяжелое, искусно вышитое шелком знамя города, а рядом с ним реют разноцветные знамена рабочих организаций. Блестит золото кистей, бахромы и шнурков, блестят копья на древках, шелестит шелк, и гудит, как хор, поющий вполголоса, торжественно настроенная толпа людей.

Над нею, на высоком пьедестале — фигура Колумба, мечтателя, который много пострадал за то, что верил, и — победил, потому что верил. Он и теперь смотрит вниз на людей, как бы говоря мраморными устами:

«Побеждают только верующие».

У ног его, вокруг пьедестала, музыканты разложили медные трубы, медь на солнце сверкает, точно золото.

Вогнутым полукругом стоит тяжелое мраморное здание вокзала, раскинув свои крылья, точно желая обнять людей. Из порта доносится тяжкое дыхание пароходов, глухая работа винта в воде, звон цепей, свистки и крики — на площади тихо, душно и всё облито жарким солнцем. На балконах и в окнах домов — женщины, с цветами в руках, празднично одетые фигурки детей, точно цветы.

Свистит, подбегая к станции, локомотив — толпа дрогнула, точно черные птицы, взлетело над головами несколько измятых шляп, музыканты берут трубы, какие-то серьезные, пожилые люди, охорашиваясь, выступают вперед, обращаются лицом к толпе и говорят что-то, размахивая руками вправо и влево.

Тяжело и не торопясь толпа расступилась, очистив широкий проход в улицу.

— Кого встречают?

— Детей из Пармы!

Там забастовка, в Парме. Хозяева не уступают, рабочим стало трудно, и вот они, собрав своих детей, уже начавших хворать от голода, отправили их товарищам в Геную.

Из-за колонн вокзала идет стройная процессия маленьких

людей, они полуодеты и кажутся мохнатыми в своих лохмотьях, мохнатыми, точно какие-то странные зверьки. Идут, держась за руки, по пяти в ряд — очень маленькие, пыльные, видимо, усталые. Их лица серьезны, но глаза блестят живо и ясно, и когда музыка играет встречу им гимн Гарибальди,— по этим худеньким, острым и голодным личикам пробегает, веселую рябью, улыбка удовольствия.

Толпа приветствует людей будущего оглушительным криком, перед ними склоняются знамена, ревет медь труб, оглушая и ослепляя детей,— они несколько ошеломлены этим приемом, на секунду подаются назад и вдруг как-то сразу вытянулись, выросли, сгрудились в одно тело и сотнями голосов, но звуком одной груди, крикнули:

— Viva Italia!^[2]

— Да здравствует молодая Парма! — гремит толпа, опрокидываясь на них.

— Evviva Garibaldi!^[3] — кричат дети, серым клином врезаясь в толпу и исчезая в ней.

В окнах отелей, на крышах домов белыми птицами трепещут платки, оттуда сыплется на головы людей дождь цветов и веселые, громкие крики.

Всё стало праздничным, всё ожило, и серый мрамор расцвел какими-то яркими пятнами.

Качаются знамена, летят шляпы и цветы, над головами взрослых людей выросли маленькие детские головки, мелькают крошечные темные лапы, ловя цветы и приветствуя, и всё гремит в воздухе непрерывный мощный крик:

— Viva il Socialismo!^[4]

— Evviva Italia!

Почти все дети расхвачаны по рукам, они сидят на плечах взрослых, прижаты к широким грудям каких-то усатых людей; музыка едва слышна в шуме, смехе и криках.

В толпе ныряют женщины, разбирая оставшихся приезжих, и кричат друг другу:

— Вы берете двоих, Аннита?

— Да. Вы тоже?

— И для безногой Маргариты одного...

Всюду веселое возбуждение, праздничные лица, влажные добрые

глаза, и уже кое-где дети забастовщиков жуют хлеб.

— В наше время об этом не думали! — говорит старик с птичьим носом и черной сигарой в зубах.

— А — так просто...

— Да! Это просто и умно.

Старик вынул сигару изо рта, посмотрел на ее конец и, вздохнув, стряхнул пепел. А потом, увидав около себя двух ребят из Пармы, видимо, братьев, сделал грозное лицо, ошетинился, — они смотрели на него серьезно, нахлобучил шляпу на глаза, развел руки, дети, прижавшись друг ко другу, нахмурились, отступая, старик вдруг присел на корточки и громко, очень похоже, пропел петухом. Дети захохотали, топая голыми пятками по камням, а он — встал, поправил шляпу и, решив, что сделал все, что надо, покачиваясь на неверных ногах, отошел прочь.

Горбатая и седая женщина с лицом бабы-яги и жесткими полосами на костлявом подбородке стоит у подножия статуи Колумба и — плачет, отирая красные глаза концом выцветшей шали. Темная и уродливая, она так странно одинока среди возбужденной толпы людей...

Приплясывая, идет черноволосая генуэзка, ведя за руку человека лет семи от роду, в деревянных башмаках и серой шляпе до плеч. Он встряхивает головенкой, чтобы сбросить шляпу на затылок, а она всё падает ему на лицо, женщина срывает ее с маленькой головы и, высоко взмахнув ею, что-то поет и смеется, мальчуган смотрит на нее, закинув голову, — весь улыбка, потом подпрыгивает, желая достать шляпу, и оба они исчезают.

Высокий человек в кожаном переднике, с голыми огромными руками, держит на плече девочку лет шести, серенькую, точно мышь, и говорит женщине, идущей рядом с ним, ведя за руку мальчугана, рыжего, как огонь:

— Понимаешь, — если это привьется... Нас трудно будет одолеть, а?

И густо, громко, торжествующе хохочет и, подбрасывая свою маленькую ношу в синий воздух, кричит:

— Evviva Parma-a!^[5]

Люди уходят, уводя и унося с собою детей, на площади остаются смятые цветы, бумажки от конфет, веселая группа факино и над

ними благородная фигура человека, открывшего Новый Свет.

А из улиц, точно из огромных труб, красиво льются веселые крики людей, идущих встречу новой жизни.

III

Душный полдень, где-то только что бухнула пушка — мягкий, странный звук, точно лопнуло огромное гнилое яйцо. В воздухе, потрясенном взрывом, едкие запахи города стали ощутимее, острее пахнет оливковым маслом, чесноком, вином и нагретою пылью.

Жаркий шум южного дня, покрытый тяжелым вздохом пушки, на секунду прижался к нагретым камням мостовых и, снова вскинувшись над улицами, потек в море широкой мутной рекой.

Город — празднично яркое и пестрое, как богато расшитая риза священника; в его страстных криках, трепете и столах богослужебно звучит пение жизни. Каждый город — храм, возведенный трудами людей, всякая работа — молитва Будущему.

Солнце — в зените, раскаленное синее небо ослепляет, как будто из каждой его точки на землю, на море падает огненно-синий луч, глубоко вонзаясь в камень города и воду. Море блестит, словно шелк, густо расшитый серебром, и, чуть касаясь набережной сонными движениями зеленоватых теплых волн, тихо поет мудрую песню об источнике жизни и счастья — солнце.

Пыльные, потные люди, весело и шумно перекликаясь, бегут обедать, многие спешат на берег и, быстро сбросив серые одежды, прыгают в море, смуглые тела, падая в воду, тотчас становятся до смешного маленькими, точно темные крупинки пыли в большой чаше вина.

Шелковые всплески воды, радостные крики освеженного тела, громкий смех и визг ребятишек — всё это и радужные брызги моря, разбитого прыжками людей, — вздымается к солнцу, как веселая жертва ему.

На тротуаре в тени большого дома сидят, готовясь обедать, четверо мостовщиков — серые, сухие и крепкие камни. Седой старик, покрытый пылью, точно пеплом осыпан, прищурив хищный, зоркий глаз, режет ножом длинный хлеб, следя, чтобы каждый кусок был не меньше другого. На голове у него красный вязанный колпак с кистью, она падает ему на лицо, старик встряхивает большой, апостольской головою, и его длинный нос

попугая сопит, раздуваются ноздри.

Рядом с ним на теплых камнях лежит, вверх грудью, бронзовый и черный, точно жук, молодец; на лицо ему прыгают крошки хлеба, он лениво щурит глаза и поет что-то вполголоса, — точно сквозь сон. А еще двое сидят, прислонясь спинами к белым стенам дома, и дремлют.

К ним идет мальчик с фьяской вина в руке и небольшим узлом в другой, идет, вскинув голову, и кричит звонко, точно птица, не видя, что сквозь солому, которой обернута бутылка, падают на землю, кроваво сверкая, точно рубины, тяжелые капли густого вина.

Старик заметил это, положил хлеб и нож на грудь юноши, тревожно махая рукою, зовет мальчика:

— Скорее, слепой! Смотри — вино!

Мальчик приподнял фьяску в уровень с лицом, ахнул и быстро подбежал к мостовщикам — они все зашевелились, взволнованно закричали, ощупывая фьяску, а мальчишка стрелою умчался куда-то во двор и столь же быстро выскочил оттуда с большим желтым блюдом в руках.

Блюдо поставили на землю, и старик внимательно льет в пего красную живую струю, — четыре пары глаз любуются игрою вина на солнце, сухие губы людей жадно вздрагивают.

Идет женщина в бледно-голубом платье, на ее черных волосах золотистый кружевной шарф, четко стучат высокие каблуки коричневых ботинок. Она ведет за руку маленькую кудрявую девочку; размахивая правой рукой с двумя цветками алой гвоздики в ней, девочка качается на ходу, распевая:

— *О, ма, о, ма, о, миа ма-а...* [\[6\]](#)

Остановясь за спиною старого мостовщика, замолчала, приподнялась на носки и через плечо старика серьезно смотрит, как течет вино в желтую чашу, течет и звучит, точно продолжая ее песню.

Девочка освободила руку из руки женщины, оборвала лепестки цветов и, высоко подняв ручонку, темную, точно крыло воробья, бросила алые цветы в чашу вина.

Четверо людей вздрогнули, сердито вскинули пыльные головы —

девочка была в ладоши и смеялась, притопывая маленькими ногами, сконфуженная мать ловила ее руку, что-то говоря высоким голосом, мальчишка — хохотал, перегибаясь, а в чаше, по темному вину, точно розовые лодочки, плавали лепестки цветов.

Старик достал откуда-то стакан, зачерпнул вина вместе с цветами, тяжело поднялся на колени и, поднося стакан ко рту, успокоительно, серьезно сказал:

— Ничего, синьора! Дар ребенка — дар бога... Ваше здоровье, красивая синьора, и твое тоже, дитя! Будь красивой, как мать, и вдвое счастлива...

Сунул седые усы в стакан, прищурил глаза и медленными глотками, почмокивая, шевеля кривым носом, высосал темную влагу.

Мать, улыбаясь и кланяясь, пошла прочь, ведя девочку за руку, а та качалась, шаркая ножонками по камню, и кричала, щурясь:

— *О, ма-а... о, миа, миа-а...*

Мостовщики, устало поворачивая головы, смотрят на вино и вслед девочке, смотрят и, улыбаясь, быстрыми языками южан что-то говорят друг другу.

А в чаше, на поверхности темно-красного вина, качаются алые лепестки цветов.

Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки.

IV

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и всё вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груди щепня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

— Это, синьор, медаль за работу в Симплонском туннеле.

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

— Э, всякая работа трудна, до времени, пока ее не полюбишь, а потом она возбуждает и становится легче. Все-таки — да, было трудно!

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

— Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать — не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану,— земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости,— это испытано многими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне:

«Ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своею кровью, увидишь!» Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень,— забываешь о фантазиях. Там всё было фантастично, дорогой синьор; мы люди,— такие маленькие, и она, эта гора,— до небес, гора, которой мы сверлили чрево... это надо

видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли,— надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слушать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

— Человек — умеет работать! — продолжал он с гордостью.— О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать,— непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает всё, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это.

— «Прорезать гору насквозь из страны в страну,— говорил он,— это против бога, разделившего землю стенами гор,— вы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

— «Дети бога», — это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек, — «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и когда коснемся его, — оно сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли — огненное, это знают все! Возделывать землю — это так, помогать ее родам — нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать»...

Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

— Не один он думал так, и это верно было: чем дальше — тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И всё сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

— «Разве я не прав?» — говорил отец, со страхом в глазах и кашляя всё чаще, глуше... — «Разве я не прав? — говорил он. — Это непобедимо, земля!»

— И наконец — лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

— «Моя работа — кончена, Паоло,— сказал он мне однажды ночью.— Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

— Взял за руку меня, привлек к себе и говорит — святая правда, синьор! — «Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе, мы встретимся — ты веришь в это?»

Я — верил.

— «Хорошо, сын мой! Так и надо: всё надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди — приди ко мне на могилу и скажи: отец — сделано! Чтобы я знал!»

— Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

— Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца — это был безумный день, синьор! О, когда мы услышали там, под землю, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землю — вы поймите, синьор,— под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

— Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие, с каждым днем они становились всё понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей — мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний,— это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывается долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в

глаза ему своими глубокими человеческими глазами, тихо и радостно продолжал:

— А когда наконец рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости,— о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую — нет, я не даром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали — и это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

— Конечно, я пошел к отцу, о да! Конечно,— хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел: надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал,— не так ли?

— Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал, как он желал этого:

— «Отец — сделано! — сказал я. — Люди — победили. Сделано, отец!»

V

Молодой музыкант, пристально глядя в даль чёрными глазами, тихонько говорил:

— Музыка, которую я хотел бы написать, такова:

«По дороге к большому городу не спеша идёт мальчик. Город лёг на землю тяжёлыми грудями зданий, прижался к ней и стонет и глухо ворчит. Издали кажется, как будто он — только что разрушен пожаром, ибо над ним ещё не угасло кровавое пламя заката и кресты его церквей, вершины башен, флюгера раскалены докрасна.

Края чёрных туч тоже в огне, на красных пятнах зловеще рисуются угловатые куски огромных строений; там и тут, точно раны, сверкают стёкла; разрушенный, измученный город — место неутомимого боя за счастье — истекает кровью, и она дымится, горячая, желтоватым удушливым дымом.

Мальчик идёт в сумраке поля по широкой серой ленте дороги; прямая, точно шпага, она вонзается в бок города, неуклонно направленная могучей незримой рукою. Деревья по сторонам её — точно незажжённые факелы, их чёрные большие кисти неподвижны над молчаливою, чего-то ожидающей землёй.

Небо покрыто облаками, звёзд не видно, теней нет, поздний вечер печален и тих, только медленные и лёгкие шаги мальчика едва слышны в сумеречном, утомлённом молчании засыпающих полей.

А вслед мальчику бесшумно идёт ночь, закрывая чёрною мантией забвения даль, откуда он вышел.

Сгущаясь, сумрак прячет в тёплом объятии своём покорно приникшие к земле белые и красные дома, сиротливо разбросанные по холмам. Сады, деревья, трубы — всё вокруг чернеет, исчезает, раздавленное тьмою ночи, точно пугаясь маленькой фигурки с палкой в руке, прячась от неё или играя с нею.

Он же идёт молча и спокойно смотрит на город, не ускоряя шага, одинокий, маленький, словно несущий что-то необходимое, давно ожидаемое всеми там, в городе, где уже тревожно загораются встречу ему голубые, жёлтые и красные огни.

Закат — погас. Расплавилась, исчезли кресты, флюгера и

железные вершины башен, город стал ниже, меньше и плотнее прижался к немой земле.

Над ним вспыхнуло и растёт опаловое облако, фосфорический, желтоватый туман неравномерно лёг на серую сеть тесно сомкнутых зданий. Теперь город не кажется разрушенным огнём и облитым кровью, — неровные линии крыш и стен напоминают что-то волшебное, но — недостроенное, неоконченное, как будто тот, кто затеял этот великий город для людей, устал и спит, разочаровался и, бросив всё, — ушёл или потерял веру и — умер.

А город — живёт и охвачен томительным желанием видеть себя красиво и гордо поднятым к солнцу. Он стонет в бреду многогранных желаний счастья, его волнует страстная воля к жизни, и в тёмное молчание полей, окруживших его, текут тихие ручьи приглушённых звуков, а чёрная чаша неба всё полнее и полней наливается мутным, тоскующим светом.

Мальчик остановился, взмахнул головой, высоко подняв брови, спокойно, смелыми глазами смотрит вперёд и, покачнувшись, пошёл быстрее.

И ночь, следуя за ним, тихо, ласковым голосом матери сказала ему:

— Пора, мальчик, иди! Они — ждут...»

— ...Это, конечно, невозможно написать! — задумчиво улыбаясь, сказал молодой музыкант.

Потом, помолчав, сложил руки ладонями и воскликнул, негромко, тревожно и любовно:

— Пречистая дева Мария! Что его встретит?

VI

В синем небе полудня тает солнце, обливая воду и землю жаркими лучами разных красок. Море дремлет и дышит опаловым туманом, синеватая вода блестит сталью, крепкий запах морской соли густо льётся на берег.

Звенят волны, лениво оплёскивая грудь серых камней, перекатываются через их рёбра, шуршат мелкою галькой; гребни волн невысоки, прозрачны, как стекло, и пены нет на них.

Гора окутана лиловой дымкой зноя, седые листья олив на солнце — как старое серебро, на террасах садов, одевших гору, в тёмном бархате зелени сверкает золото лимонов, апельсин, ярко улыбаются алые цветы гранат, и всюду цветы, цветы.

Любит солнце эту землю...

В камнях два рыбака: один — старик, в соломенной шляпе, с толстым лицом в седой щетине на щеках, губах и подбородке, глаза у него заплыли жиром, нос красный, руки бронзовые от загара. Высунув далеко в море гибкое удилище, он сидит на камне, свесив волосатые ноги в зелёную воду, волна, подпрыгнув, касается их, с тёмных пальцев падают в море тяжёлые, светлые капли.

За спиной старика стоит, опираясь локтем о камень, черноглазый смугляк, стройный и тонкий, в красном колпаке на голове, в белой фуфайке на выпуклой груди и в синих штанах, засученных по колени. Он щиплет пальцами правой руки усы и задумчиво смотрит в даль моря, где качаются чёрные полосы рыбацких лодок, а далеко за ними чуть виден белый парус, неподвижно тающий в зное, точно облако.

— Богатая синьора? — сиплым голосом спрашивает старик, безуспешно подсекая.

Юноша тихо ответил:

— Мне кажется — да! Такая брошь, с большим, синим камнем, серьги, и много колец, и часы... Думаю — американка...

— И красива?

— О да! Очень тонкая — правда, но такие глаза, как цветы, и — знаешь маленький, немного открытый рот...

— Это — рот честной женщины и такой, что любит однажды в

жизни.

— Так и мне кажется...

Старик взмахнул удилищем, посмотрел, прищурился, на пустой крючок и заворчал, усмехаясь:

— Рыба не глупее нас, нет...

— Кто же ловит в полдень? — спросил юноша, опускаясь на корточки.

— Я, — сказал старик, насаживая наживу.

И, закинув лесу далеко в море, спросил:

— Катались до утра, ты сказал?

— Уже всходило солнце, когда мы вышли на берег, — охотно ответил молодой, глубоко вздохнув.

— Двадцать лир?

— Да.

— Она могла дать больше.

— Она много могла дать...

— О чем же говорил ты с нею?

Юноша печально и с досадой опустил голову.

— Она знает не более десяти слов, и мы молчали...

— Истинная любовь, — сказал старик, оборотясь и обнажая широкой улыбкой белые зубы, — бьёт в сердце, как молния, и нема, как молния, знаешь?

Подняв большой камень, юноша хотел бросить его в море, размахнулся и бросил назад, через плечо, говоря:

— Иногда совсем не понимаешь — зачем нужны людям разные языки?

— Говорят — этого не будет когда-то! — подумав, заметил старик.

На синей скатерти моря, в молочном тумане дали, скользит бесшумно, точно тень облака, белый пароход.

— В Сицилию! — сказал старик, кивая головой.

Достал откуда-то длинную и неровную чёрную сигару, разломил её и, подавая через плечо одну половинку юноше, спросил:

— Что же ты думал, сидя с нею?

— Человек всегда думает о счастье...

— Оттого он и глуп всегда! — спокойно вставил старик.

Закурили. Синие струйки дыма потянулись над камнями в

безветренном воздухе, полном сытного запаха плодородной земли и ласковой воды.

— Я ей пел, а она улыбалась...

— И?

— Но ты знаешь — я плохо пою.

— Да.

— Потом я опустил вёсла и смотрел на неё.

— Эге?

— Смотрел, говоря про себя: «Вот я, молодой и сильный, а тебе скучно, полюби меня и дай мне жить хорошей жизнью!..»

— Ей — скучно?

— Кто ж поедет в чужую страну, если он не беден и ему весело?

— Bravo!

— «Обещаю именем девы Марии, — думал я, — что буду добр с тобою и всем людям будет хорошо около нас...»

— Экко! — воскликнул старик, вскинув большую голову, и засмеялся басовитым смехом.

— «Буду верен тебе всегда...»

— Гм...

— Или — думал: «Поживём немного, я буду тебя любить, сколько ты захочешь, а потом ты дашь мне денег на лодку, снасти и на кусок земли, я ворочусь тогда в свой добрый край и всегда, всю жизнь буду хорошо помнить о тебе...»

— Это — не глупо...

— Потом, к утру — думал уже — что, пожалуй, ничего не надобно мне, не нужно денег, а только её, хотя бы на одну эту ночь...

— Так — проще...

— На одну только ночь!..

— Экко! — сказал старик.

— Мне кажется, дядя Пьетро, что маленькое счастье — всегда честнее...

Старик молчал, поджав толстые, бритые губы и пристально глядя в зелёную воду, а юноша тихонько и печально запел:

О, солнце моё...

— Да, да, — вдруг сказал старик, покачивая головой, —

маленькое счастье — честнее, а большое — лучше... Бедные люди — красивее, а богатые сильнее... И так всё... всё так!

Шуршат и плещут волны. Синие струйки дыма плавают над головами людей, как нимбы. Юноша встал на ноги и тихо поёт, держа сигару в углу рта. Он прислонился плечом к серому боку камня, скрестил руки на груди и смотрит в даль моря большими глазами мечтателя.

А старик — неподвижен, он опустил голову и, кажется, дремлет.

Лиловые тени в горах становятся гуще и ласковее.

— О, солнце моё! — поёт юноша...

*Родилось солнце
Ещё прекрасней,
Ещё прекраснее, чем ты!
О солнце, солнце!
Свети на грудь мою!..*

Звенят весёлые зелёные волны.

VII

На маленькой станции между Римом и Генуей кондуктор открыл дверь купе и, при помощи чумазого смазчика, почти внёс к нам маленького кривого старика.

— Очень стар! — в голос сказали они, добродушно улыбаясь.

Но старик оказался бодрым; поблагодарив помогавших ему жестом сморщенной руки, он вежливо и весело приподнял с седой головы изломанную шляпу и, оглянув диваны зорким глазом, спросил:

— Позволите?

Ему дали место, он сел, вздохнув облегчённо и, положив руки на острые колени, добродушно улыбнулся беззубым ртом.

— Далек, дед? — спросил мой товарищ.

— О, только три станции! — охотно ответил кривой. — На свадьбу внука еду...

И через несколько минут словоохотливо рассказывал под шум колёс поезда, качаясь, точно надломленная ветвь в ненастный день:

— Я — лигуриец, мы все очень крепкие, лигурийцы. Вот у меня тринадцать сыновей, четыре дочери, я уже сбиваюсь, считая внуков, это второй женится, хорошо, не правда ли? И, гордо посмотрев на всех выцветшим, но ещё весёлым глазом, он тихонько засмеялся, говоря:

— Вот, сколько дал я людей стране и королю!

— Как пропал глаз? О, это было давно, ещё мальчишкой был я тогда, но уже помогал отцу. Он перебивал землю на винограднике, у нас трудная земля, просит большого ухода: много камня. Камень отскочил из-под кирки отца и ударил меня в глаз; я не помню боли, но за обедом глаз выпал у меня — это было страшно, синьоры!.. Его вставили на место и приложили тёплого хлеба, но глаз помер!

Старик крепко потёр бурую, дряблую щёку, снова улыбаясь добродушно и весело.

— Тогда не было так много докторов и люди жили глупее, — о, да! Может быть, они добрей были? А?

Теперь его одноглазое кожаное лицо, всё в глубоких складках и зеленовато-серых, точно плесень, волосах, стало хитрым и

ликующим.

— Когда живёшь так много, как я, можно говорить о людях смело, не правда ли?

Он внушительно поднял вверх изогнутый тёмный палец, точно грозя кому-то.

— Я расскажу вам, синьоры, кое-что о людях...

— Когда умер отец — мне было тринадцать лет, — вы видите, какой я и теперь маленький? Но я был ловок и неутомим в работе — это всё, что оставил мне отец в наследство, а землю нашу и дом продали за долги. Так я и жил, с одним глазом и двумя руками, работая везде, где давали работу... Было трудно, но молодость не боится труда — так?

— В девятнадцать лет встретила девушка, которую мне суждено было любить, — такая же бедная, как сам я, она была крупная и сильнее меня, жила с матерью, больной старухой, и, как я, — работала где могла. Не очень красивая, но — добрая и умница. И хороший голос — о! Пела она, как артистка, а это уже — богатство! И я тоже не худо пел.

— «Женимся?» — сказал я ей.

— «Это будет смешно, кривой! — ответила она невесело. — Ни у тебя, ни у меня нет ничего — как будем жить?»

— Святая правда: ни у меня, ни у неё — ничего! Но — что нужно для любви в юности? Вы все знаете, как мало нужно для любви; я настаивал и победил.

— «Да, пожалуй, ты прав, — сказала наконец, Ида. — Если святая мать помогает тебе и мне теперь, когда мы живём отдельно, ей, конечно, будет легче помогать нам, когда мы будем жить вместе!»

— Мы пошли к священнику.

— «Это — безумие! — говорил священник. — Разве мало в Лигурии нищих! Несчастные люди, вы должны бороться с соблазнами дьявола, иначе — дорого заплатите за вашу слабость!»

— Молодёжь коммуны смеялась над нами, старики осуждали нас. Но молодость — упряма и по-своему — умна! Настал день свадьбы, мы не стали к этому дню богаче и даже не знали, где ляжем спать в первую ночь.

— «Мы уйдём в поле! — сказала Ида. — Почему это плохо? Матерь божия везде одинаково добра к людям».

— Так мы и решили: земля — постель наша, и пусть оденет нас небо!

— Отсюда начинается другая история, синьоры, прошу внимания, — это лучшая история моей долгой жизни! Рано утром, за день до свадьбы, старик Джiovанни, у которого я много работал, сказал мне — так, знаете, сквозь зубы — ведь речь шла о пустяках!

— Ты бы, Уго, вычистил старый овечий хлев и постлал туда соломы. Хотя там сухо и овцы больше года не были там, всё же нужно хорошо убрать хлев, если ты с Идой хочешь жить в нём».

— Вот у нас и дом!

— Работаю я, пою — в дверях стоит столяр Констанцио, спрашивая:

— «Это тут будешь ты жить с Идой? А где же у вас кровать? Надо бы тебе, когда кончишь, пойти ко мне и взять у меня её, есть лишняя».

— А когда я шёл к нему, сердитая Мария — лавочница — закричала:

— «Женятся, несчастные, не имея ни простыни, ни подушек, ничего! Ты совсем безумец, кривой! Пришли ко мне свою невесту...»

— А безногий, замученный ревматизмом, избитый лихорадкой Этторе Виано кричит ей с порога своего дома:

— «Спроси его — много ли он припас вина для гостей, э? Ах, люди, что может быть легкомысленнее их?»

На щеке старика в глубокой морщине засверкала весёлая слеза, он закинул голову и беззвучно засмеялся, играя острым кадыком, трясая изношенной кожей лица и по-детски размахивая руками.

— О синьоры, синьоры! — сквозь смех, задыхаясь, говорил он, — на утро дня свадьбы у нас было всё, что нужно для дома, — статуя мадонны, посуда, бельё, мебель — всё, клянусь вам! Ида плакала и смеялась, я тоже, и все смеялись — нехорошо плакать в день свадьбы, и все наши смеялись над нами!..

— Синьоры! Это дьявольски хорошо — иметь право назвать людей — наши! И ещё более хорошо чувствовать их своими, близкими тебе, родными людьми, для которых твоя жизнь — не шутка, твоё счастье — не игра!

— И была свадьба — э! Удивительный день! Вся коммуна смотрела на нас, и все пришли в наш хлев, который вдруг стал

богатым домом... У нас было всё: вино, и фрукты, и мясо, и хлеб, и все ели, и всем было весело... Потому что, синьоры, нет лучше веселья, как творить добро людям, поверьте мне, ничего нет красивее и веселее, чем это!

— И священник был. «Вот, — говорил он, строго и хорошо, — вот люди, которые работали на всех вас, и вы позаботились о них, чтобы им стало легко в этот день, лучший день их жизни. Так и надо было сделать вам, ибо они работали для вас, а работа — выше медных и серебряных денег, работа всегда выше платы, которую дают за неё! Деньги — исчезают, работа — остаётся... Эти люди — и веселы и скромны, они жили трудно и не жаловались, они будут жить ещё труднее и не застонут — вы поможете им в трудный час. У них хорошие руки и ещё лучше их сердца...»

— Он много лестного сказал мне, Иде и всей коммуне!..

Старик, торжествуя, оглядел всех помолодевшим глазом и спросил:

— Вот, синьоры, кое-что о людях — это вкусно, не правда ли?

VIII

Весна, ярко блестит солнце, люди веселы и даже стёкла в окнах старых каменных домов улыбаются тепло.

По улице маленького городка пёстрым потоком льётся празднично одетая толпа — тут весь город, рабочие, солдаты, буржуа, священники, администраторы, рыбаки, — все возбуждены весенним хмелем, говорят громко, много смеются, поют, и все — как одно здоровое тело — насыщены радостью жить.

Разноцветные зонтики, шляпы женщин, красные и голубые шары в руках детей — точно причудливые цветы, и всюду, как самоцветные камни на пышной мантии сказочного короля сверкают, смеясь и ликуя, дети, весёлые владыки земли.

Бледно-зелёная листва деревьев ещё не распустилась, свёрнута в пышные комки и жадно пьёт тёплые лучи солнца. Вдали играет музыка, манит к себе.

Впечатление такое, точно люди пережили свои несчастья, вчерашний день был последним днём тяжёлой, всем надоевшей жизни, а сегодня все проснулись ясными, как дети, с твёрдой, весёлой верою в себя — в непобедимость своей воли, пред которой всё должно склониться, и вот теперь дружно и уверенно идут к будущему.

И было странно, обидно и печально — заметить в этой живой толпе грустное лицо: под руку с молодой женщиной прошёл высокий, крепкий человек; наверное — не старше тридцати лет, но — седоволосый. Он держал шляпу в руке, его круглая голова была вся серебряная, худое, здоровое лицо спокойно и печально. Большие, тёмные, прикрытые ресницами глаза смотрели так, как смотрят только глаза человека, который не может забыть тяжкой боли, испытанной им.

— Обрати внимание на эту пару людей, — сказал мне мой товарищ, особенно на него: он пережил одну из тех драм, которые всё чаще разыгрываются в среде рабочих северной Италии.

И товарищ рассказал мне:

«Этот человек — социалист, редактор местной рабочей газетки, он сам рабочий, маляр. Одна из тех натур, у которых знание

становится верой, а вера ещё более разжигает жажду знания. Ярый и умный антиклерикал, — видишь, какими глазами смотрят чёрные священники в спину ему!

Лет пять тому назад он, будучи пропагандистом, встретил в одном из своих кружков девушку, которая сразу обратила на себя его внимание. Здесь женщины выучились верить молча и непоколебимо, священники развивали в них эту способность много веков и добились чего хотели, — кто-то верно сказал, что католическая церковь построена на груди женщины. Культ мадонны не только язычески красив, это прежде всего умный культ; мадонна проще Христа, она ближе сердцу, в ней нет противоречий, она не грозит геенной — она только любит, жалеет, прощает, — ей легко взять сердце женщины в плен на всю жизнь.

Но вот он видит девушку, которая умеет говорить, может спрашивать, и всегда в её вопросах он чувствует, рядом с наивным удивлением перед его идеями, нескрываемое недоверие к нему, а часто — страх и даже отвращение. Пропагандисту-итальянцу приходится много говорить о религии, резко о папе и священниках, — каждый раз, когда он говорил об этом, он видел в глазах девушки презрение и ненависть к нему, если же она спрашивала о чём-нибудь, её слова звучали враждебно, и мягкий голос был насыщен ядом. Заметно было, что она знакома с литературой католиков, направленной против социализма, и что в этом кружке её слово пользуется не меньшим вниманием, чем его.

Здесь относятся к женщине значительно упрощённое и грубее, чем в России, и — до последнего времени — итальянки давали много оснований для этого; не интересуясь ничем, кроме церкви, они — в лучшем случае — чужды культурной работе мужчин и не понимают её значения.

Мужское самолюбие его было задето, слава искусного пропагандиста страдала в столкновениях с этой девушкой, он раздражался, несколько раз удачно высмеивал её, но и она ему платила тем же, невольно возбуждая в нём уважение, заставляя его особенно тщательно готовиться к занятиям с кружком, где была она.

Но рядом со всем этим он замечал, что каждый раз, когда ему приходится говорить о позорной современности, о том, как она

угнетает человека, искажая его тело, его душу, когда он рисовал картины жизни в будущем, где человек станет внешне и внутренне свободен, — он видел её перед собою другой: она слушала его речи с гневом сильной и умной женщины, знающей тяжесть цепей жизни, с доверчивой жадностью ребёнка, который слышит волшебную сказку, и эта сказка в ладу с его, тоже волшебной сложной, душой.

Это возбуждало в нём предчувствие победы над врагом, который может быть прекрасным товарищем.

Почти год длилось состязание, не вызывая у них охоты сблизиться и поспорить один на один, но наконец он первый подошел к ней.

— Синьорина — мой постоянный оппонент, — сказал он, — не находит ли она, что в интересах дела будет лучше, если мы познакомимся ближе?

Она охотно согласилась с ним, и почти с первых слов они вступили в бой друг с другом: девушка яростно защищала церковь как место, где замученный человек может отдохнуть душой, где, пред лицом доброй мадонны, — все равны и всё равно жалки, несмотря на разность одежды; он возражал, что не отдых нужен людям, а борьба, что невозможно гражданское равенство без равенства материальных благ и что за спиной мадонны прячется человек, которому выгодно, чтобы люди были несчастны и глупы.

С того времени эти споры наполнили всю их жизнь, каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днём всё более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований.

Для него жизнь — борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы человеческой воле, все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидает свобода и торжество разума — самой могучей из всех сил и единственной силы мира, сознательно действующей. А для неё жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели которой знает только священник.

Поражённый, он спрашивал:

— Но зачем же вы ходите на мои лекции, чего вы ждёте от социализма?

— Да, я знаю, что грешу и противоречу себе! — грустно сознавалась она.— Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей!

Она была не очень красива — тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров; она работала на фабрике шёлка, жила со старухой матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала весёлой, не шумно, но обаятельно; любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотой вещей и, глядя на них, говорила:

— Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то были заперты в домах частных людей и кто-то один имел право пользоваться ими! Красивое должны видеть все, только тогда оно живёт!

Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе её, они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери; он терпеливо ждал, когда его вера зажжёт ей сердце и тихая любовь преобразится в страсть, ему казалось, что девушка слушает его речи всё внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И всё пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека — народа, человечества — из старых цепей, ржавчина которых въелась в души и отемняет, отравляет их.

Однажды, провожая её домой, он сказал ей, что любит её, хочет, чтобы она была его женой, и — был испуган впечатлением, которое вызвали в ней его слова: пошатнувшись, точно он ударил её, широко раскрыв глаза, бледная, она прислонилась спиной к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его почти с ужасом, сказала:

— Я догадывалась, что это так, я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас, но — боже мой, — что же будет теперь?

— Начнутся дни счастья твоего и моего, дни нашей общей работы! воскликнул он.

— Нет,— сказала девушка, опустив голову. — Нет! Нам не надо говорить о любви.

— Почему?

— Ты станешь венчаться в церкви? — тихо спросила она.

— Нет!

— Тогда — прощай!

И она быстро пошла прочь от него.

Он догнал её, стал уговаривать, она выслушала молча, не возражая, потом сказала:

— Я, моя мать и отец — все верующие и так умрём. Брак в мэрии — не брак для меня: если от такого брака родятся дети, — я знаю, — они будут несчастны. Только церковный брак освящает любовь, только он даёт счастье и покой.

Ему стало ясно, что она не скоро уступит, он же, конечно, не мог уступить. Они разошлись: прощаясь, девушка сказала:

— Не станем мучить друг друга, не ищи встреч со мною! Ах, если бы ты уехал отсюда! Я — не могу, я так бедна...

— Я не дам никаких обещаний, — ответил он. И началась борьба сильных людей: они встречались, конечно, и даже более часто, чем прежде, встречались, потому что искали встреч, надеясь, что один из двух не вытерпит мучений неудовлетворённого и всё разгоравшегося чувства. Их встречи были полны отчаяния и тоски, после каждого свидания с нею он чувствовал себя разбитым и бессильным, она — в слезах шла исповедоваться, а он знал это, и ему казалось, что чёрная стена людей в тонзурах становится всё выше, несокрушимее с каждым днём, растёт и разъединяет их насмерть.

Однажды в праздник, гуляя с нею в поле за городом, он сказал ей — не угрожая, а просто думая вслух:

— Знаешь, мне кажется иногда, что я могу убить тебя...

Она промолчала.

— Ты слышала, что я сказал?

Ласково взглянув в лицо ему, она ответила:

— Да.

И он понял, что она умрёт, но не уступит ему. До этого «да» он порою обнимал и целовал её, она боролась с ним, сопротивление её слабело, и он мечтал уже, что однажды она уступит, и тогда её инстинкт женщины поможет ему победить её. Но теперь он понял, что это была бы не победа, а порабощение, и с той поры перестал будить в ней женщину.

Так ходил он с нею в тёмном круге её представлений о жизни,

зажигал пред нею все огни, какие мог зажечь, но — как слепая — она слушала его с мечтательной улыбкой и не верила ему.

Однажды она сказала:

— Я понимаю иногда, что всё, что ты говоришь, — возможно, но я думаю это потому, что я люблю тебя! Я понимаю, но — не верю, не могу! И когда ты уходишь, всё твоё уходит с тобой.

Это продолжалось почти два года, и вот девушка заболела; он бросил работу, перестал заниматься делами организации, наделал долгов и, избегая встреч с товарищами, ходил около её квартиры или сидел у постели её, наблюдая, как она сгорает, становясь с каждым днём всё прозрачнее, и как всё ярче пылает в глазах её огонь болезни.

— Говори мне о будущем, — просила она его.

Он говорил о настоящем, мстительно перечисляя всё, что губит нас, против чего он будет всегда бороться, что надо вышвырнуть вон из жизни людей, как тёмные, грязные, изношенные лохмотья.

Она слушала и, когда ей было нестерпимо больно, останавливала его речь, касаясь его руки и умоляюще глядя в глаза ему.

— Я — умираю? — спросила она его однажды, много дней спустя после того, как доктор сказал ему, что у неё скоротечная чахотка и положение её безнадежно.

Он не ответил ей, опустив глаза.

— Я знаю, что скоро умру, — сказала она. — Дай мне руку.

И, когда он протянул руку ей, она, поцеловав её горячими губами, сказала:

— Прости меня, я виновата перед тобою, я ошиблась и измучила тебя. Я вижу теперь, когда убита, что моя вера — только страх пред тем, чего я не могла понять, несмотря на свои желания и твои усилия. Это был страх, но он в крови моей, я с ним рождена. У меня свой — или твой — ум, но чужое сердце, ты прав, я это поняла, но сердце не могло согласиться с тобой...

Через несколько дней она умерла, а он посидел за время агонии её, посидел в двадцать семь лет.

Недавно он женился на единственной подруге той девушки, его ученице; это они идут на кладбище, к той, — они каждое воскресенье ходят туда положить цветы на могилу её.

Он не верит в свою победу, убежден, что, говоря ему — «ты

прав!» — она лгала, чтобы утешить его. Его жена думает так же, оба они любовно чтят память о ней, и эта тяжёлая история гибели хорошего человека, возбуждая их силы желанием отомстить за него, придаёт их совместной работе неутомимость и особенный, широкий, красивый характер».

...Льётся под солнцем живая, празднично пёстрая река людей, весёлый шум сопровождает её течение, дети кричат и смеются; не всем, конечно, легко и радостно, наверное, много сердец туго сжаты тёмной скорбью, много умов истерзаны противоречиями, но — все мы идём к свободе, к свободе!

И чем дружнее — всё быстрее пойдём!

IX

Прославим женщину — Мать, неиссякаемый источник всё побеждающей жизни!

Здесь пойдёт речь о железном Тимур-ленге, хромом барсе, о Сахиб-и-Кирани — счастливом завоевателе, о Тамерлане, как называли его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.

Пятьдесят лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, как нога слона — муравейники, красные реки крови текли от его путей во все стороны; он строил высокие башни из костей побеждённых народов; он разрушал жизнь, споря в силе своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный человек — он хотел отнять у неё все жертвы — да издохнет она с голода и тоски!

С того дня, как умер сын его Джигангир и народ Самарканда встретил победителя злых Джеттов одетый в чёрное и голубое, посыпав головы свои пылью и пеплом, — с того дня и до часа встречи со Смертью в Отраре, где она поборолла его, — тридцать лет Тимур ни разу не улыбнулся — так жил он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания тридцать лет!

Прославим в мире женщину — Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть! Здесь будет сказана правда о Матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб Смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли.

Вот как это было.

Пировал Тимур-бек в прекрасной долине Канигула, покрытой облаками роз и жасмина, — в долине, которую поэты Самарканда называли «Любовь цветов» и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей.

Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинуто в долине широким веером, все они — как тюльпаны, и над каждой — сотни шёлковых флагов трепещут, как живые цветы.

А в середине их — палатка Гуругана-Тимура — как царица среди своих подруг. Она о четырёх углах, сто шагов по сторонам, три

копья в высоту, её середина — на двенадцати золотых колоннах в толщину человека, на вершине её голубой купол, вся она из чёрных, жёлтых, голубых полос шёлка, пятьсот красных шнуров прикрепили её к земле, чтобы она не поднялась в небо, четыре серебряных орла по углам её, а под куполом, в середине палатки, на возвышении, — пятый, сам непобедимый Тимур-Гуруган, царь царей.

На нём широкая одежда из шёлка небесного цвета, её осыпают зёрна жемчуга — не больше пяти тысяч крупных зёрен, да! На его страшной седой голове — белая шапка с рубином на острой верхушке, и качается, качается, сверкает этот кровавый глаз, озирая мир.

Лицо Хромого — как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят всё, и блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя — серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки.

На земле, на коврах, каких больше нет, — триста золотых кувшинов с вином и всё, что надо для пира царей; сзади Тимура сидят музыканты, рядом с ним — никого, у ног его — его кровные, цари и князья, и начальники войск, а ближе всех к нему — пьяный Кермани-поэт, тот, который однажды, на вопрос разрушителя мира:

— Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали? — ответил сеятелю смерти и ужаса:

— Двадцать пять аскеров.

— Но это цена только моего пояса! — вскричал удивлённый Тимур.

— Я ведь и думаю только о поясе, — ответил Кермани, — только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша!

Вот как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком зла и ужаса, и да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура.

Прославим поэтов, у которых один бог — красиво сказанное, бесстрашное слово правды, вот кто бог для них — навсегда!

И вот, в час веселья, разгула, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пёстрые шуты, боролись силачи, изгибались

канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать, фехтовали воины и шло представление со слонами, которых окрасили в красный и зелёный цвета, сделав этим одних — ужасными и смешными — других, — в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славой его, от усталости побед, и вина, и кумыса, — в этот безумный час, вдруг, сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя Баязета-султана долетел крик женщины, гордый крик орлицы, звук, знакомый и родственный его оскорблённой душе, — оскорблённой Смертью и потому жестокой к людям и жизни.

Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина, она вся в пыли и лохмотьях, она кажется безумной, говорит по-арабски и требует — она требует! — видеть его, повелителя трёх стран света.

— Приведите её! — сказал царь.

И вот пред ним женщина — босая, в лоскутках выцветших на солнце одежд, чёрные волосы её были распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо её — как бронза, а глаза — повелительны, и тёмная рука, протянутая Хромому, не дрожала.

— Это ты победил султана Баязета? — спросила она.

— Да, я. Я победил многих и его и ещё не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?

— Слушай! — сказала она. — Что бы ты ни сделал, ты — только человек, а я — Мать! Ты служишь смерти, я — жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину, — мне говорили, что девиз твой — «сила — в справедливости», — я не верю этому, но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я — Мать!

Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их, — он сказал:

— Сядь и говори, я хочу слушать тебя!

Она села — как нашла удобным — в тесный круг царей, на ковёр, и вот что рассказала она:

— Я — из-под Салерно, это далеко, в Италии, ты не знаешь где! Мой отец — рыбак, мой муж — тоже, он был красив, как счастливый человек, — это я поила его счастьем! И ещё был у меня сын — самый прекрасный мальчик на земле...

— Как мой Джигангир, — тихо сказал старый воин.

— Самый красивый и умный мальчик — это мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарацины-пираты, они убили отца моего, мужа и ещё многих, а мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя, я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты — победил Баязета и отнял у него всё, ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его!

Все засмеялись, и сказали тогда цари — они всегда считают себя мудрыми!

— Она — безумна! — сказали цари и друзья Тимура, князя и военачальники его, и все смеялись.

Только Кермани смотрел на женщину серьёзно, и с великим удивлением Тамерлан.

— Она безумна, как Мать! — тихо молвил пьяный поэт Кермани; а царь — враг мира — сказал:

— Женщина! Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди, — которые часто злее злейших зверей, — не тронули тебя, ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках? Мне надо знать всё это, чтобы поверить тебе и чтобы удивление пред тобою не мешало мне понять тебя!

Восславим женщину — Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке — от лучей солнца и от молока Матери, — вот что насыщает нас любовью к жизни!

Сказала она Тимур-ленгу:

— Море я встретила только одно, на нём было много островов и рыбацких лодок, а ведь если ищешь любимое — дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рождён и вырос на берегу моря. Горы? — я не заметила гор.

Пьяный Кермани весело сказал:

— Гора становится долиной, когда любишь!

— Были леса по дороге, да, это — было! Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. Но ведь каждый

зверь имеет сердце, я говорила с ними, как с тобой, они верили, что я — Мать, и уходили, вздыхая, — им было жалко меня! Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди?

— Так, женщина! — сказал Тимур. — И часто — я знаю — они любят сильнее, борются упорнее, чем люди!

— Люди, — продолжала она, как дитя, ибо каждая Мать — сто раз дитя в душе своей, — люди — это всегда дети своих матерей, — сказала она, — ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын, даже и тебя, старик, — ты знаешь это — родила женщина, ты можешь отказаться от бога, но от этого не откажешься и ты, старик!

— Так, женщина! — воскликнул Кермани, бесстрашный поэт. — Так, — от сборища быков — телят не будет, без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери — нет ни поэта, ни героя!

И сказала женщина:

— Отдай мне моего ребёнка, потому что я — Мать и люблю его!

Поклонимся женщине — она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлён злыми, но — как сказал Шерифэддин — он ещё воскреснет и придёт судить живых и мёртвых, в Дамаске это будет, в Дамаске!

Поклонимся Той, которая неутомимо родит нам великих! Аристотель — сын Её, и Фирдуси, и сладкий, как мёд, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер — это всё Её дети, все они пили Её молоко, и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана, — вся гордость мира — от Матерей!

И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур-Гуруган, и долго молчал, а потом сказал ко всем:

— Мен тангри кули Тимур! Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот жил я, уже много лет земля стонет подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этою рукой, — для того уничтожаю, чтобы отмстить ей за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Боролись со мною за царства и города, но — никто, никогда — за человека, и не имел человек цены в глазах моих, и не знал я — кто он и зачем на пути моём? Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: «О Баязет, как

видно пред богом ничто государства и люди, смотри — он отдаёт их во власть таких людей, каковы мы: ты — кривой, я — хром!» Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях и он не мог стоять под тяжестью их, так сказал я, глядя на него в несчастье, и почувствовал жизнь горькою, как полынь, трава развалин!

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот — сидит предо мною женщина, каких тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как равному, и она не просит, а — требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта женщина, — она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребенок её — искра жизни, от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были детьми, и герои — слабыми? О Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе — суждено было согреть землю, засеять её счастьем — я хорошо полил её кровью, и она стала тучной!

Снова долго думал бич народов и сказал наконец:

— Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Триста всадников отправятся сейчас же во все концы земли моей, и пусть найдут они сына этой женщины, а она будет ждать здесь, и я буду ждать вместе с нею; тот же, кто воротится с ребёнком на седле своего коня, он будет счастлив — говорит Тимур! Так, женщина?

Она откинула с лица чёрные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой:

— Так, царь!

Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а весёлый поэт Кермани говорил, как дитя, с большой радостью:

Что прекрасней песен о цветах и звёздах?

Всякий тотчас скажет: песни о любви!

Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?

И влюбленный скажет: та, кого люблю!

Ах, прекрасны звёзды в небе полуночи — знаю!

И прекрасно солнце в ясный полдень лета — знаю!

Очи моей милой всех цветов прекрасней — знаю!

И её улыбка ласковее солнца — знаю!

Но ещё не спета песня всех прекрасней,

Песня о начале всех начал на свете,

Песнь о сердце мира, о волшебном сердце

Той, кого мы, люди, Матерью зовём!

И сказал Тимур-ленг своему поэту:

— Так, Кермани! Не ошибся бог, избрав твои уста для того, чтоб
возвещать его мудрость!

— Э! Бог сам — хороший поэт! — молвил пьяный Кермани.

А женщина улыбалась, и улыбались все цари и князья,
военачальники и все другие дети, глядя на неё — Мать!

Всё это — правда; все слова здесь — истина, об этом знают наши
матери, спросите их, и они скажут:

— Да, всё это вечная правда, мы — сильнее смерти, мы, которые
непрерывно дарим миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в
нём всё, чем он славен!

Х

Знойный день, тишина; жизнь застыла в светлом покое, небо ласково смотрит на землю голубым ясным оком, солнце — огненный зрачок его.

Море гладко выковано из синего металла, пёстрые лодки рыбаков неподвижны, точно впаяны в полукруг залива, яркий, как небо. Пролетит чайка, лениво махая крыльями, — вода покажет другую птицу, белее и красивее той, что в воздухе.

Мреет даль; там в тумане тихо плывёт — или, раскалён солнцем, тает лиловый остров, одинокая скала среди моря, ласковый самоцветный камень в кольце Неаполитанского залива.

Изрезанный уступами каменистый берег спускается к морю, весь он кудрявый и пышный в тёмной листве винограда, апельсиновых деревьев, лимонов и фигов, весь в тусклом серебре листвы олив. Сквозь поток зелени, круто падающий в море, приветливо улыбаются золотые, красные и белые цветы, а жёлтые и оранжевые плоды напоминают о звёздах в безлунную жаркую ночь, когда небо тёмно, воздух влажен.

В небе, море и душе — тишина, хочется слышать, как всё живое безмолвно поёт молитву богу-Солнцу.

Между садов вьётся тропа, и по ней, тихо спускаясь с камня на камень, идёт к морю высокая женщина в чёрном платье, оно выгорело на солнце до бурых пятен, и даже издали видны его заплаты. Голова её не покрыта, блестит серебро седых волос, мелкими кольцами они осыпают её высокий лоб, виски и тёмную кожу щёк; эти волосы, должно быть, невозможно причесать гладко.

Лицо у неё резкое, суровое, увидев однажды — его запомнишь навсегда: есть что-то глубоко древнее в этом сухом лице, а если встретишь прямой и тёмный взгляд её глаз — невольно вспоминаются знойные пустыни востока, Дебора и Юдифь.

Наклонив голову, она вяжет что-то красное; сверкает сталь крючка, клубок шерсти спрятан где-то в одежде, но кажется, что красная нить исходит из груди этой женщины. Тропинка крута и капризна, слышно, как шуршат, осыпаясь, камни, но эта седая спускается так уверенно, как будто ноги её видят путь.

Вот что рассказывают про этого человека: она вдова, муж её, рыбак, вскоре после свадьбы уехал ловить рыбу и не вернулся, оставив её с ребёнком под сердцем.

Когда ребёнок родился, она стала прятать его от людей, не выходила с ним на улицу, на солнце, чтобы похвастаться сыном, как это делают все матери, держала его в тёмном углу своей хижины, кутая в тряпки, и долгое время никто из соседей не видел, как сложен новорожденный, — видели только его большую голову и огромные неподвижные глаза на жёлтом лице. Заметили также, что она, здоровая и ловкая, боролась раньше с нуждой неумолимо, весело, умея внушить бодрость духа и другим, а теперь стала молчаливой, всегда о чём-то думала, хмурясь и глядя на всё сквозь туман печали, странным взглядом, который как будто спрашивал о чём-то.

Немного понадобилось времени для того, чтобы все узнали её горе: ребёнок родился уродом, вот почему она прятала его, вот что угнетало её.

Тогда соседи сказали ей, что, конечно, они понимают, как стыдно женщине быть матерью уродца; никому, кроме мадонны, не известно, справедливо ли наказана она этой жестокой обидой, однако ребёнок не виноват ни в чём и она напрасно лишает его солнца.

Она послушала людей и показала им сына — руки и ноги у него были короткие, как плавники рыбы, голова, раздутая в огромный шар, едва держалась на тонкой, дряблой шее, а лицо — точно у старика, всё в морщинах, на нём пара мутных глаз и большой рот, растянутый в мёртвую улыбку.

Женщины плакали, глядя на него, мужчины, брезгливо сморщив лица, угрюмо ушли; мать уродца сидела на земле, то пряча голову, то поднимая её и глядя на всех так, точно без слов спрашивала о чём-то, чего никто не понимал.

Соседи сделали для уродца ящик — вроде гроба, набили его очёсками шерсти и тряпьем, посадили уродца в это мягкое, жаркое гнездо и поставили ящик в тени на дворе, тайно надеясь, что под солнцем, которое ежедневно делает чудеса, совершится и ещё одно чудо.

Но время шло, а он оставался всё таким же: огромная голова,

длинное туловище с четырьмя бессильными придатками; только улыбка его принимала всё более определённое выражение ненасытной жадности, да рот наполнялся двумя рядами острых кривых зубов. Коротенькие лапы научились хватать куски хлеба и почти безошибочно тащили их в большой, горячий рот.

Он был нем, но когда где-нибудь близко от него ели и урод слышал запах пищи, он глухо мычал, открыв пасть и качая тяжёлой головою, а мутные белки его глаз покрывались красной сеткой кровавых жилок.

Ел он много и чем дальше — всё больше, мычание его становилось непрерывным; мать, не опуская рук, работала, но часто заработок её был ничтожен, а иногда его и вовсе не было. Она не жаловалась и неохотно всегда молча — принимала помощь соседей, но когда её не было дома, соседи, раздражаемые мычанием, забегали во двор и совали в ненасытный рот корки хлеба, овощи, фрукты — всё, что можно было есть.

— Скоро он тебя всю обгложет! — говорили ей. — Почему ты не отдашь его куда-нибудь в приют, в больницу?

Она угрюмо отвечала:

— Я — родила его, я и должна его кормить.

Была она красива, и не один мужчина искал её любви, все — безуспешно, а одному, который нравился ей больше других, она сказала:

— Я не могу быть твоей женою, боюсь родить ещё урода, это было бы стыдно тебе. Нет, уйди!

Человек уговаривал её, напоминал ей о мадонне, которая справедлива к матерям и считает их сёстрами своими, — мать урода ответила ему:

— Я не знаю, в чём виновата, но — вот, наказана жестоко.

Он умолял, плакал и бесился, тогда она сказала:

— Нельзя делать того, во что не веришь. Уйди!

Он ушёл куда-то далеко, навсегда.

И так много лет набивала она бездонную, неустанно жевавшую пасть, он пожирал плоды её трудов, её кровь и жизнь, голова его росла и становилась всё более страшной, похожая на шар, готовый оторваться от бессильной, тонкой шеи и улететь, задевая за углы домов, лениво покачиваясь с боку на бок.

Всякий, кто заглядывал во двор, невольно останавливался, поражённый, содрогаясь, не умея понять — что он видит? У стены, заросшей виноградом, на камнях, как на жертвеннике, стоял ящик, а из него поднималась эта голова, и, чётко выступая на фоне зелени, притягивало к себе взгляд прохожего жёлтое, покрытое морщинами, скуластое лицо, таращились, вылезая из орбит и надолго вклеиваясь в память всякого, кто их видел, тупые глаза, вздрагивал широкий, приплюснутый нос, двигались непомерно развитые скулы и челюсти, шевелились дряблые губы, открывая два ряда хищных зубов, и, как бы живя своей отдельной жизнью, торчали большие, чуткие, звериные уши — эту страшную маску прикрывала шапка чёрных волос, завитых в мелкие кольца, точно волосы негра.

Держа в руке, короткой и маленькой, как лапа ящерицы, кусок чего-нибудь съедобного, урод наклонял голову движениями клюющей птицы и, отрывая зубами пищу, громко чавкал, сопел. Сытый, глядя на людей, он всегда оскаливал зубы, а глаза его сдвигались к переносью, сливаясь в мутное бездонное пятно на этом полумёртвом лице, движения которого напоминали агонию. Если же он был голоден, то вытягивал шею вперёд и, открыв красную пасть, шевеля тонким змеиным языком, требовательно мычал.

Крестясь и творя молитвы, люди отходили прочь, вспоминая всё дурное, что пережито ими, все несчастья, испытанные в жизни.

Старик кузнец, человек мрачного ума, не однажды говорил:

— Когда я вижу этот всё пожирающий рот, я думаю, что мою силу пожрал кто-то, подобный ему, мне кажется, что все мы живём и умираем для паразитов.

У всех эта немая голова вызывала мысли печальные, чувства, пугающие сердце.

Мать уroda молчала, прислушиваясь к словам людей, волосы её быстро седели, морщины являлись на лице, она давно уже разучилась смеяться. Люди знали, что ночами она неподвижно стоит у двери, смотрит в небо и точно ждёт кого-то; они говорили друг другу:

— Чего ей ждать?

— Посади его на площадь у старой церкви! — советовали ей

соседи — Там ходят иностранцы, они не откажутся бросить ему несколько медных монет каждый день.

Мать испуганно вздрогнула, говоря:

— Это будет ужасно, если его увидят люди иных стран, — что они подумают о нас?

Ей ответили:

— Бедность — везде, все знают об этом!

Она отрицательно покачала головою.

Но иностранцы, гонимые скукой, шатались повсюду, заглядывали во все дворы и, конечно, заглянули и к ней; она была дома, она видела гримасы брезгливости и отвращения на сытых лицах этих праздных людей, слышала, как они говорили о её сыне, кривя губы и прищулив глаза. Особенно ударили её в сердце несколько слов, сказанных презрительно, враждебно, с явным торжеством.

Она запомнила эти звуки, много раз повторив про себя чужие слова, в которых её сердце итальянки и матери чувствовало оскорбительный смысл; в тот же день она пошла к знакомому комиссионеру и спросила его — что значат эти слова?

— Смотря по тому, кто их сказал! — ответил он, нахмурясь. — Они значат: Италия вымирает впереди всех романских рас. Где ты слышала эту ложь?

Она, не ответив, ушла.

А на другой день её сын объелся чем-то и умер в судорогах.

Она сидела на дворе около ящика, положив ладонь на мёртвую голову своего сына, спокойно ожидая чего-то, вопросительно глядя в глаза каждого, кто приходил к ней, чтобы посмотреть на умершего.

Все молчали, никто ни о чём не спрашивал её, хотя, быть может, многим хотелось поздравить её, — она освободилась от рабства, — сказать ей утешительное слово — она потеряла сына, но — все молчали. Иногда люди понимают, что не обо всём можно говорить до конца.

После этого она ещё долго смотрела в лица людей, словно спрашивая их о чём-то, а потом стала такою же простою, как все.

XI

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из чёрной тьмы на стены города множеством красных глаз — они пылали злорадно, и это подстерегающее горение вызывало в осаждённом городе мрачные думы.

Со стен видели, как всё теснее сжималась петля врагов, как мелькают вокруг огней их чёрные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий хохот, раздавались весёлые песни людей, уверенных в победе, — а что мучительнее слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубил сады — город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомлённых боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряжённо вслушивались — не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдалённых гор выползали сине-чёрные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над чёрными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнурённые трудами и голодом, с каждым днём теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, чёрные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов — всё напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в чёрный плащ.

Люди, увидав её, спрашивали друг друга:

— Это она?

— Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо неё, а начальники патрулей сурово предупреждали её:

— Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или брезгуя поднять руку на неё; вооружённые люди обходили её, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и чёрная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя её, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял её сын, весёлый и безжалостный красавец; ещё недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рождённую ею в помощь людям города — гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали это сердце с древними камнями, из которых её предки построили дома и сложили стены города, с землёй, где лежали кости её кровных, с легендами, песнями и надеждами людей — теряло сердце матери ближайшего ему человека и плакало: было оно подобно весам, но, взвешивая в нём любовь к сыну и городу, не могло понять — что легче, что тяжелей?

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая её, пугались, принимая чёрную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды в глухом углу, около городской стены, она увидела другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звёздам, а на стене, над головой её, тихо переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

— Муж?

— Нет.

— Брат?

— Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот — сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

— Мадонна всё видит, всё знает, и я благодарю её!

— За что? — спросила первая, а та ответила ей:

— Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил весёлую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

— Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

— Ты — человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

— Я — мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал.

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили:

— По чести — мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница — твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и — вот тебе наказание, если ты считаешь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

— Да! — сказала она. — Это — страшнее.

Они открыли ворота пред нею, выпустили её из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой её сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие, — матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать её; удаляясь, она становилась всё меньше, а тем, что смотрели на неё со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадёжность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили её, одну среди поля, и не спеша, осторожно, к ней приближались чёрные, как она, фигуры.

Подошли и спросили — кто она, куда идёт?

— Ваш предводитель — мой сын,— сказала она, и ни один солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умён и храбр её сын, она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась — её сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца,— в шёлке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Всё — так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне — богатым, знаменитым и любимым.

— Мать! — говорил он, целуя её руки. — Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

— В котором ты родился,— напомнила она.

Опьянённый подвигами своими, обезумевший в жажде ещё большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

— Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город для тебя — он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь — завтра — я разрушу гнездо упрямцев!

— Где каждый камень знает и помнит тебя ребёнком,— сказала она.

— Камни — немые, если человек не заставит их говорить,— пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

— Но — люди? — спросила она.

— О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

— Герой — это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто

побеждает смерть...

— Нет! — возразил он. — Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает города. Посмотри — мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город...

— Который пережил все имена,— напомнила мать.

Так говорил он с нею до заката солнца, она всё реже перебивала его безумные речи, и всё ниже опускалась её гордая голова.

Мать — творит, она — охраняет, и говорить при ней о разрушении значит говорить против неё, а он не знал этого и отрицал смысл её жизни.

Мать — всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям — её сын не видел этого, ослеплённый холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать — зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идёт о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребёнка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стёкла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звёзды.

Она видела там, в тёмных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шёпота людей, ожидающих смерти,— она видела всё и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая её решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С чёрных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обречённый смерти.

— Может быть, мы обрушимся на него ещё ночью,— говорил её сын,— если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их — всегда при

этом много неверных ударов, — говорил он, рассматривая свой меч.

Мать сказала ему:

— Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребёнком и как все любили тебя...

Он послушался, прилёг на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

— Я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

— А женщины? — спросила она, наклонясь над ним.

— Их — много, они быстро надоедают, как всё слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

— И ты не хочешь иметь детей?

— Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьёт их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы отомстить за них.

— Ты красив, но бесплоден, как молния, — сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

— Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребёнок.

Тогда она, накрыв его своим чёрным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер — ведь она хорошо знала, где бьётся сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумлённой стражи, она сказала в сторону города:

— Человек — я сделала для родины всё, что могла; Мать — я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, ещё тёплый от крови его — её крови, — она твёрдой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце, — если оно болит, в него легко попасть.

ХII

Звенят цикады.

Словно тысячи металлических струн протянуты в густой листве олив, ветер колеблет жесткие листья, они касаются струн, и эти легкие непрерывные прикосновения наполняют воздух жарким, опьяняющим звуком. Это — еще не музыка, но кажется, что невидимые руки настраивают сотни невидимых арф, и все время напряженно ждешь, что вот наступит момент молчания, а потом мощно грянет струнный гимн солнцу, небу и морю.

Дует ветер, деревья качаются и точно идут с горы к морю, встряхивая вершинами. О прибрежные камни равномерно и глухо бьет волна; море — все в живых белых пятнах, словно бесчисленные стаи птиц опустились на его синюю равнину, все они плывут в одном направлении, исчезают, ныряя в глубину, снова являются и звенят чуть слышно. И, словно увлекая их за собою, на горизонте качаются, высоко подняв трехъярусные паруса, два судна, тоже подобные серым птицам; все это — напоминая давний, полузабытый сон — не похоже на жизнь.

— К ночи разыграется крепкий ветер! — говорит старый рыбак, сидя в тени камней, на маленьком пляже, усеянном звонкой галькой.

Прибой набросал на камни волокна пахучей морской травы — рыжей, золотистой и зеленой; трава вянет на солнце и горячих камнях, соленый воздух насыщен терпким запахом йода. На пляж одна за другой вбегают кудрявые волны.

Старый рыбак похож на птицу — маленькое стиснутое лицо, горбатый нос и невидимые в темных складках кожи, круглые, должно быть, очень зоркие глаза. Пальцы рук крючковаты, малоподвижны и сухи.

— Полсотни лет тому назад, синьор, — говорит старик, в тон шороху волн и звону цикад, — был однажды вот такой же веселый и звучный день, когда все смеется и поет. Моему отцу было сорок, мне — шестнадцать, и я был влюблен, это — неизбежно в шестнадцать лет и при хорошем солнце.

— «Поедем, Гвидо, за пеццони», — сказал отец. — Пеццони,

синьор, очень тонкая и вкусная рыба с розовыми плавниками, ее называют также коралловой рыбой, потому что она водится там, где есть кораллы, очень глубоко. Ее ловят, стоя на якоре, крючком с тяжелым грузилом. Красивая рыба.

— И мы поехали, ничего не ожидая, кроме хорошей удачи. Мой отец был сильный человек, опытный рыбак, но незадолго перед этим он хворал — болела грудь, и пальцы рук у него были испорчены ревматизмом — болезнь рыбаков.

— Это очень хитрый и злой ветер, вот этот, который так ласково дует на нас с берега, точно тихонько толкая в море, — там он подходит к вам незаметно и вдруг бросается на вас, точно вы оскорбили его. Барка тотчас сорвана и летит по ветру, иногда вверх килем, а вы — в воде. Это случается в одну минуту, вы не успеете выругаться или помянуть имя божие, как вас уже кружит, гонит в даль. Разбойник честнее этого ветра. Впрочем — люди всегда честнее стихии.

— Да, так вот этот ветер и ударил нас в четырех километрах от берега совсем близко, как видите, ударил неожиданно, как трус и подлец.

— «Гвидо! — сказал родитель, хватая весла изуродованными руками. Держись, Гвидо! Живо — якорь!»

— Но пока я выбирал якорь, отец получил удар веслом в грудь — вырвало весла из рук у него — он свалился на дно без памяти. Мне некогда было помочь ему, каждую секунду нас могло опрокинуть. Сначала — все делается быстро: когда я сел на весла — мы уже неслись куда-то, окруженные водной пылью, ветер срывал верхушки волн и кропил нас, точно священник, только с лучшим усердием и совсем не для того, чтобы смыть наши грехи.

— «Это серьезно, сын мой! — сказал отец, придя в себя и взглянув в сторону берега. — Это — надолго, дорогой мой».

— Если молод — не легко веришь в опасность, я пытался грести, делал все, что надо делать в воде в опасную минуту, когда этот ветер — дыхание злых дьяволов — любезно роем тысячи могил и бесплатно поет реквием.

— «Сиди смирно, Гвидо, — сказал отец, усмехаясь и стряхивая воду с головы. — Какая польза ковырять море спичками? Береги силу, иначе тебя напрасно станут ждать дома».

— Бросают зеленые волны нашу маленькую лодку, как дети мяч, заглядывают к нам через борта, поднимаются над головами, ревут, трясут, мы падаем в глубокие ямы, поднимаемся на белые хребты — а берег убегает от нас всё дальше и тоже пляшет, как наша барка. Тогда отец говорит мне:

— «Ты, может быть, вернешься на землю, я — нет! Послушай, что я буду говорить тебе о рыбе и работе...»

— И он стал рассказывать мне все, что знал о привычках тех и других рыб, — где, когда и как успешнее ловить их.

— «Может быть, нам лучше помолиться, отец?» — предложил я, когда понял, что дела наши плохи: мы были точно пара кроликов в стае белых псов, отовсюду скаливших зубы на нас.

— «Бог видит всё! — сказал он. — Ему известно, что вот люди, созданные для земли, погибают в море и что один из них, не надеясь на спасение, должен передать сыну то, что он знает. Работа нужна земле и людям — бог понимает это...»

— И, рассказав мне всё, что знал о работе, отец стал говорить о том, как надо жить с людьми.

— «Время ли теперь учить меня? — сказал я. — На земле ты не делал этого!»

— «На земле я не чувствовал смерть так близко».

— Ветер выл, как зверь, и плескали волны — отцу приходилось кричать, чтобы я слышал, и он кричал:

— «Всегда держись так, как будто никого нет лучше тебя и нет никого хуже, — это будет верно! Дворянин и рыбак, священник и солдат — одно тело, и ты такой же необходимый член его, как все другие. Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего, — думай, что хорошего больше в нем, — так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них».

— Это, конечно, было сказано не сразу, а так, знаете, точно команда: нас бросало с волны на волну, и то снизу, то сверху, сквозь брызги воды я слышал эти слова. Много уносил ветер раньше, чем оно доходило до меня, многого я не мог понять — время ли учиться, синьор, когда каждая минута грозит смертью! Мне было страшно, я первый раз видел море таким бешеным и чувствовал себя столь бессильным в нем. И я не могу сказать — тогда или после, вспоминая об этих часах, я испытал чувство, которое и по сей день

живо в памяти моего сердца.

— Как теперь вижу родителя: он сидит на дне барки, раскинув больные руки, вцепившись в борта пальцами, шляпу смыло с него, волны кидаются на голову и на плечи ему то справа, то слева, бьют сзади и спереди, он встряхивает головою, фыркает и время от времени кричит мне. Мокрый он стал маленьким, а глаза у него огромные от страха, а может быть, от боли. Я думаю — от боли.

— «Слушай! — кричал мне. — Эй — слышишь?»

— Иногда я отвечал ему:

— «Слышу!»

— «Помни — всё хорошее от человека».

— «Ладно!» — отвечаю я.

— Никогда он не говорил так со мною на земле. Был веселый, добрый, но мне казалось, что он смотрит на меня насмешливо и недоверчиво, что я для него еще ребенок. Иногда это обижало меня — юность самолюбива.

— Его крики укрощали мой страх, должно быть, поэтому я так хорошо помню всё.

Старик рыбак помолчал, поглядел в белое море, улыбнулся и сказал, подмигнув:

— Приглядевшись к людям, я знаю, синьор, помнить — это всё равно, что понимать, а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего, — уж это так, поверьте!

— Да, так вот — помню я его милое мне мокрое лицо и огромные глаза смотрели они на меня серьезно, с любовью, и так, что я знал тогда — мне суждено погибнуть не в этот день. Боялся, но знал, что не погибну.

— Нас, конечно, опрокинуло. Вот — мы оба в кипящей воде, в пене, которая ослепляет нас, волны бросают наши тела, бьют их о киль барки. Мы еще раньше привязали к банкам все, что можно было привязать, у нас в руках веревки, мы не оторвемся от нашей барки, пока есть сила, но — держаться на воде трудно. Несколько раз он или я были взброшены на киль и тотчас смыты с него. Самое главное тут в том, что кружится голова, гложешь и слепнешь глаза и уши залиты водой, и очень много глотаешь ее.

— Это тянулось долго — часов семь, потом ветер сразу переменился, густо хлынул к берегу, и нас понесло к земле. Тут я

обрадовался, закричал:

— «Держись!»

— Отец тоже кричал что-то, я понял одно слово:

— «Разобьет...»

— Он думал о камнях, они были еще далеко, я не поверил ему. Но он лучше меня знал дело, — мы неслись среди гор воды, присосавшись, точно улитки, к нашей кормилице, порядочно избитые об нее, уже обессиленные и онемевшие. Это длилось долго, но когда стали видны темные горы берега — всё пошло с невыразимой быстротой. Качаясь, они подвигались к нам, наклонялись над водой, готовые опрокинуться на головы наши, — раз, раз — подкидывают белые волны наши тела, хрустит наша барка, точно орех под каблуком сапога, я оторван от нее, вижу изломанные черные ребра скал, острые, как ножи, вижу голову отца высоко надо мною, потом — над этими когтями дьяволов. Его поймали часа через два, с переломанной спиной и разбитым до мозга черепом. Рана на голове была огромная, часть мозга вымыло из нее, но я помню серые, с красными жилками, кусочки в ране, точно мрамор или пена с кровью. Изуродован был он ужасно, весь изломан, но лицо — чисто, спокойно, и глаза хорошо, плотно закрыты.

— Я? Да, я тоже был порядочно измят, на берег меня втащили без памяти. Нас принесло к материку, за Амальфи — чужое место, но, конечно, свои люди — тоже рыбаки, такие случаи их не удивляют, но делают добрыми: люди, которые ведут опасную жизнь, всегда добры!

— Я думаю, что не сумел рассказать про отца так, как чувствую, и то, что пятьдесят один год держу в сердце, — это требует особенных слов, даже, может быть, песни, но — мы люди простые, как рыбы, и не умеем говорить так красиво, как хотелось бы! Чувствуешь и знаешь всегда больше, чем можешь сказать.

— Тут всё дело в том, что он, мой отец, в час смерти, зная, что ему не избежать ее, не испугался, не забыл обо мне, своем сыне, и нашел силу и время передать мне всё, что он считал важным. Шестьдесят семь лет прожил я и могу сказать, что всё, что он внушил мне, — верно!

Старик снял свой вязаный колпак, когда-то красный, теперь

бурый, достал из него трубку и, наклонив голый, бронзовый череп, сильно сказал:

— Всё верно, дорогой синьор! Люди таковы, какими вы хотите видеть их, смотрите на них добрыми глазами, и вам будет хорошо, им — тоже, от этого они станут еще лучше, вы — тоже! Это — просто!

Ветер становился всё крепче, волны выше, острее и белей; выросли птицы на море, они всё торопливее плывут в даль, а два корабля с трехъярусными парусами уже исчезли за синей полосой горизонта.

Крутые берега острова в пене волн, буяня, плещет синяя вода, и неутомимо, страстно звенят цикады.

ХІІІ

В день, когда это случилось, дул сирокко, влажный ветер из Африки скверный ветер! — он раздражает нервы, приносит дурные настроения, вот почему два извозчика — Джузеппе Чиротта и Луиджи Мэта — поссорились. Ссора возникла незаметно, нельзя было понять, кто первый вызвал ее, люди видели только, как Луиджи бросился на грудь Джузеппе, пытаясь схватить его за горло, а тот, убрав голову в плечи, спрятал свою толстую красную шею и выставил черные крепкие кулаки.

Их тотчас разняли и спросили:

— В чем дело?

Синий от гнева, Луиджи крикнул:

— Пусть этот бык повторит при всех, что он сказал о моей жене!

Чиротта хотел уйти, он спрятал свои маленькие глаза в складках пренебрежительной гримасы и, качая круглой черной головой, отказывался повторить обиду, тогда Мэта громко сказал:

— Он говорит, что узнал сладость ласк моей жены!

— Эге! — сказали люди. — Это — не шутка, это требует серьезного внимания. Спокойствие, Луиджи! Ты здесь — чужой, твоя жена — наш человек, мы все тут знали ее ребенком, и если обижен ты — ее вина падает на всех нас, — будем правдивы!

Приступили к Чиротта.

— Ты сказал это?

— Ну да, — сознался он.

— И это — правда?

— Кто когда-нибудь уличал меня во лжи?

Чиротта — порядочный человек, хороший семьянин, — дело принимало очень мрачный оборот — люди были смущены и задумались, а Луиджи пошел домой и сказал Кончетте:

— Я — уезжаю! Я не хочу знать тебя, если ты не докажешь, что слова этого негодяя — клевета.

Она, конечно, плакала, но — ведь слезы не оправдывают; Луиджи оттолкнул ее, и вот она осталась одна, с ребенком на руках, без денег и хлеба.

Вступились женщины — прежде всех Катарина, торговка

овощами, умная лисица, эдакий, знаете, старый мешок, туго набитый мясом и костями и кое-где сильно сморщенный.

— Синьоры, — сказала она, — вы уже слышали, что это касается чести всех нас. Это — не шалость, внушенная лунной ночью, задета судьба двух матерей — так? Я беру Кончетту к себе, и она будет жить у меня, до дня, когда мы откроем правду.

Так и сделали, а потом Катарина и эта сухая ведьма Лючия, крикунья, чей голос слышно на три мили, — принялись за бедного Джузеппе: призвали и давай щипать его душу, как старую тряпку:

— Ну, добряк, скажи — ты брал ее много раз, Кончетту?

Толстый Джузеппе надул щеки, подумал и сказал:

— Однажды.

— Это можно было сказать и не думая, — заметила Лючия вслух, но как бы сама себе.

— Случилось это вечером, ночью, утром? — спрашивала Катарина, совсем как судья.

Джузеппе, не подумав, выбрал вечер.

— Было еще светло?

— Да, — сказал дурачина.

— Так! Значит, ты видел ее тело?

— Ну, конечно!

— Так скажи нам, каково оно!

Тут он понял, к чему эти вопросы, и раскрыл рот, как воробей, подавившийся зерном ячменя, понял и забормотал, сердясь так, что его большие уши налились кровью и стали лиловыми.

— Что же, — говорит, — я могу сказать? Ведь я не рассматривал ее, как доктор!

— Ты ешь плоды, не любуясь ими? — спросила Лючия. — Но, может быть, ты все-таки заметил одну особенность Кончеттины? — спрашивает она дальше и подмигивает ему, змея.

— Все это случилось так быстро, — говорит Джузеппе, — право, я ничего не заметил.

— Значит — ты ее не имел! — сказала Катарина, — она добрая старуха, но, когда нужно, умеет быть строгой. Словом — они так запутали его в противоречиях, что малый, наконец, опустил дурную свою голову и сознался:

— Ничего не было, я сказал это со зла.

Старух не удивило это.

— Так мы и думали, — сказали они и, отпустив его с миром, передали дело на суд мужчин.

Через день собралось наше общество рабочих. Чиротта встал пред ними, обвиняемый в клевете на женщину, и старик Джакомо Фаска, кузнец, сказал весьма недурно:

— Граждане, товарищи, хорошие люди! Мы требуем справедливости к нам мы должны быть справедливы друг ко другу, пусть все знают, что мы понимаем высокую цену того, что нам нужно, и что справедливость для нас не пустое слово, как для наших хозяев. Вот человек, который оклеветал женщину, оскорбил товарища, разрушил одну семью и внес горе в другую, заставив свою жену страдать от ревности и стыда. Мы должны отнестись к нему строго. Что вы предлагаете?

Шестьдесят семь языков сказали единодушно:

— Вон его из коммуны!

А пятнадцать нашли, что это слишком сурово, и завязался спор. Отчаянно кричали — дело шло о судьбе человека, и не одного: ведь он женат, имеет троих детей, — в чем виноваты жена и дети? У него — дом, виноградник, пара лошадей, четыре осла для иностранцев, — все это поднято его горбом и стоит немало труда. Бедняга Джузеппе торчал в углу один, мрачный, как чёрт среди детей; сидел на стуле согнувшись, опустив голову, и мял в руках свою шляпу, уже содрал с нее ленту и понемногу отрывал поля, а пальцы на руках у него танцевали, как у скрипача. И когда спросили у него — что он скажет? — он сказал, с трудом распрямив тело и встав на ноги:

— Я прошу снисхождения! Никто ведь не безгрешен.

Прогнать меня с земли, на которой я жил больше тридцати лет, где работали мои предки, — это не будет справедливо! Женщины тоже были против изгнания, и наконец Фаска предложил поступить так:

— Я думаю, друзья, он будет хорошо наказан, если мы возложим на него обязанность содержать жену Луиджи и его ребенка, — пусть он платит ей половину того, что зарабатывал Луиджино!

Еще много спорили, но в конце концов остановились на этом, и Джузеппе Чиротта был очень доволен, что отделался так дешево, да и всех удовлетворило это: дело не дошло ни до суда, ни до ножа, а

решилось в своем кругу. Мы не любим, синьор, когда о наших делах пишут в газетах языком, в котором понятные слова торчат редко, как зубы во рту старика, или когда судьи, эти чужие нам люди, очень плохо понимающие жизнь, толкуют про нас таким тоном, точно мы дикари, а они — божьи ангелы, которым незнаком вкус вина и рыбы и которые не прикасаются к женщине! Мы — простые люди и смотрим на жизнь просто.

Так и решили: Джузеппе Чиротта кормит жену Луиджи Мэта и ребенка их, но дело не кончилось этим: когда Луиджино узнал, что слова Чиротта лживы, а его синьора невинна, и узнал наш приговор, он вызвал ее к себе, написав кратко:

«Иди ко мне и будем жить снова хорошо. Не бери ни чентезима у этого человека, а если уже взяла — брось взятое в глаза ему! Я пред тобою тоже не виноват, разве я мог подумать, что человек лжет в таком деле, как любовь!»

А Чиротта он написал другое письмо:

«У меня три брата, и все четверо мы поклялись друг другу, что зарежем тебя, как барана, если ты сойдешь когда-нибудь с острова на землю в Сорренто, Кастелламаре, Торре или где бы то ни было. Как только узнаем, то и зарежем, помни! Это такая же правда, как то, что люди твоей коммуны хорошие, честные люди. Помощь твоя не нужна синьоре моей, даже и свинья моя отказалась бы от твоего хлеба. Живи, не сходя с острова, пока я не скажу тебе — можно!»

Говорят, будто бы Чиротта носил это письмо к судье нашему и спрашивал — нельзя ли осудить Луиджи за угрозу его? И будто судья сказал:

— Можно, конечно, но ведь тогда братья его уж наверное зарежут вас; приедут сюда и зарежут. Я советую подождите! Это — лучше. Гнев — не любовь, он недолговечен...

Судья мог сказать эдак: он у нас очень добрый, очень умный человек и сочиняет хорошие стихи, но — я не верю, чтобы Чиротта ходил к нему и показывал это письмо. Нет, Чиротта порядочный парень все-таки, он не сделал бы еще одну бестактность, ведь его за это осмеяли бы.

Мы — простые, рабочие люди, синьор, у нас — своя жизнь, свои понятия и мнения, мы имеем право строить жизнь, как хотим и как лучше для нас.

Социалисты? О, друг мой, рабочий человек рождается социалистом, как я думаю, и хотя мы не читаем книг, но правду слышим по запаху, — ведь правда крепко пахнет и всегда одинаково — трудовым потом!

XIV

Удвери белой кантины, спрятанной среди толстых лоз старого виноградника, под тенью навеса из этих же лоз, переплетенных вьюнком и мелкой китайской розой, сидят у стола, за графином вина, Винченцо, маляр, и Джиованни, слесарь. Маляр — маленький, костлявый, черный; в его темных глазах светится задумчивая мягкая улыбка мечтателя; хотя его верхняя губа и щеки выбриты досиная — лицо, от этой улыбки, кажется детским и наивным. У него маленький красивый рот, точно у девушки, кисти рук — длинные, он вертит в живых пальцах золотой цветок розы и, прижимая его к пухлым губам, закрывает глаза.

— Может быть — я не знаю — может быть! — тихо говорит он, покачивая сжатой с висков головою, рыжеватые локоны осыпаются на его высокий лоб.

— Да, да! Чем дальше на север, тем настойчивее люди! — утверждает Джиованни, большеголовый, широкоплечий парень, в черных кудрях; лицо у него медно-красное, нос обожжен солнцем и покрыт белой чешуей омертвевшей кожи; глаза — большие, добрые, как у вола, и на левой руке нет большого пальца. Его речь так же медленна, как движения рук, пропитанных маслом и железной пылью. Сжимая стакан вина в темных пальцах, с обломанными ногтями, он продолжает басом:

— Милан, Турин — вот превосходные мастерские, где формируются новые люди, растет новый мозг! Подожди немного — земля станет честной и умной!

— Да! — сказал маленький маляр, подняв стакан, и, ловя вином солнечный луч, напевает:

*О, как тепла земля на утре наших дней!
Но — возмужали мы, — и холодно на ней!*

— Чем дальше на север, говорю я, тем лучше работа. Уже французы живут не так лениво, как мы, дальше — немцы и наконец русские — вот люди!

— Да!

— Бесправные, под страхом лишиться свободы и жизни, они сделали грандиозное дело — ведь это благодаря им вспыхнул к жизни весь восток!

— Страна героев! — склоняя голову, сказал маляр. — Я бы хотел жить с ними...

— Ты? — воскликнул слесарь, ударив по своему колену ребром ладони. Кусочком льда был бы ты там через неделю!

Оба добродушно засмеялись.

Синие и золотые цветы вокруг них, ленты солнечных лучей дрожат в воздухе, в прозрачном стекле графина и стаканов горит алмандиновое вино, издали доплывает шелковый шорох моря.

— Вот, добрый мой Винченцо, — говорит слесарь, широко улыбаясь, расскажи стихами, как я стал социалистом, — ты знаешь это?

— Нет, — сказал маляр, наливая в стаканы вино и улыбаясь красной струе, — ты никогда не говорил об этом. Эта кожа так хорошо сидит на твоих костях, что я думал — ты родился в ней!

— Я родился голым и глупым, как ты и все люди; в юности я мечтал о богатой жене, в солдатах — учился, чтобы сдать экзамен на офицерский чин, мне было двадцать три года, когда я почувствовал, что не все на свете хорошо и жить дураком — стыдно!

Маляр облокотился на стол, а голову вскинул вверх и стал смотреть на гору, где на самом обрыве стоят, качая ветвями, огромные сосны.

— Нас — мою роту — послали в Болонью; там волновались крестьяне, одни — требуя понижения арендной платы, другие — кричали о необходимости повысить заработную плату, те и другие казались мне неправыми: понизить аренду за землю, поднять рабочую плату — что за глупости! — думал я, — ведь это разорит землевладельцев: Мне, жителю города, это казалось вздором и бессмыслицей. И я очень сердился, чему помогала жара, постоянные передвижения с места на место, караульная служба по ночам, — эти молодцы, видишь ли, ломали машины помещиков, а также им нравилось жечь хлеб и портить все, принадлежавшее не им.

Он выпил вино маленькими глотками и, оживляясь все более, продолжал:

— Они ходили по полям густыми толпами, точно овцы, но — молча, грозно, деловито, мы разгоняли их, показывая штыки, иногда — толкая прикладами, они, не пугаясь и не торопясь, разбегались, собирались снова. Это было скучно, как обедня, и тянулось изо дня в день, точно лихорадка. Луото, наш унтер, славный парень, абруцезец, тоже крестьянин, мучился: пожелтел, похудел и не однажды говорил нам:

— «Очень скверно, дети мои! Вероятно, придется стрелять, будь я проклят!»

— Его карканье еще больше расстраивало нас, а тут, знаешь, из-за каждого угла, холма и дерева торчат упрямые головы крестьян, щупают тебя их сердитые глаза, — люди эти относились к нам, конечно, не очень приветливо.

— Пей! — сказал маленький Винченцо, ласково подвигая приятелю полный стакан.

— Благодарю и — да здравствуют стойкие люди! — воскликнул слесарь, выпил, вытер ладонью усы и продолжал:

— Однажды я стоял на небольшом холме, у рощи олив, охраняя деревья, потому что крестьяне портили их, а под холмом работали двое — старик и юноша, рыли какую-то канаву. Жарко, солнце печет, как огнем, хочется быть рыбой, скучно, и, помню, я смотрел на этих людей очень сердито. В полдень они, бросив работу, достали хлеб, сыр, кувшин вина, — черт бы вас побрал, думаю я. Вдруг старик, ни разу не взглянувший на меня до этой поры, что-то сказал юноше, тот отрицательно тряхнул головою, а старик крикнул:

— «Иди!» — Очень строго крикнул.

— Юноша идет ко мне с кувшином в руке, подошел и говорит так, знаешь, не очень охотно:

— «Отец мой думает, что вы хотите пить, и предлагает вам вина!»

— Было неловко, но — приятно, я отказался, кивнув старику головой и благодаря его, а он отвечает мне, поглядывая в небо:

— «Выпейте, синьор, выпейте! Мы предлагаем это человеку, а не солдату, мы не надеемся, что солдат будет добрее от нашего вина».

— «Не кусайся, чёрт тебя побери!» — подумал я и, выпив глотка три, поблагодарил, а они, там, внизу, начали есть; потом скоро я сменился — на мое место встал Уго, салертинец, и я сказал ему

тихонько, что эти двое крестьян — добрые люди. В тот же день вечером, когда я стоял у дверей сарая, где хранились машины, с крыши, на голову мне, упала черепица — по голове ударило не сильно, но другая очень крепко — ребром по плечу, так, что левая рука у меня повисла.

Слесарь захохотал, широко открыв рот и прищурив глаза.

— Черепицы, камни, палки, — говорил он сквозь смех, — в те дни и в том месте действовали самостоятельно, и эта самостоятельность неодушевленных предметов сажала нам довольно крупные шишки на головы. Идет или стоит солдат — вдруг с земли прыгает на него палка, с небес падает камень. Мы сердились, конечно!

Глаза маленького маляра стали грустны, лицо побледнело, и он сказал тихонько:

— Всегда стыдно слушать о таких вещах...

— Что поделаешь! Люди медленно умнеют. Далее: я позвал на помощь, меня отвели в дом, где уже лежал один, раненный камнем в лицо, и, когда я спросил его — как это случилось с ним, он сказал, невесело посмеиваясь:

— «Старуха, товарищ, старая седая ведьма ударила и предлагает — убить ее!»

— «Арестовали?»

— «Я сказал, что это сам я — упал и ударился. Командир не поверил, это было видно по его глазам. Но, согласись, неловко сознаться, что ранен старухой! Дьявол! Им туго приходится, и понятно, что они не любят нас».

— «Так!» — думаю я. Приходит доктор и две дамы — одна очень красивая, блондинка, очевидно — венецианка, другая — не помню ее. Осматривают мой ушиб, конечно — пустяки, положили мне компресс и ушли.

Слесарь нахмурился, замолчал и крепко потер руки; его товарищ снова налил вина в стаканы, наливая, он высоко поднимал графин, и вино трепетало в воздухе красной живой струей.

— Мы оба сели у окна, — угрюмо продолжал слесарь,

— сели так, чтобы нас не видело солнце, и вот слышим нежный голосок блондинки этой — она с подругой и доктором идет по саду, за окном, и говорит на французском языке, который я хорошо понимаю.

— «Вы заметили, какие у него глаза? — говорит она.

— Он, разумеется, тоже крестьянин и, может быть, сняв мундир, тоже будет социалистом, как все у нас. И вот, люди с такими глазами хотят завоевать весь мир, перестроить всю жизнь, изгнать нас, уничтожить, все для того, чтобы торжествовала какая-то слепая, скучная справедливость!»

— «Глупые ребята, — сказал доктор, — полудети, полужвери!»

— «Звери — да! Но — что в них детского?»

— «А эти мечты о всеобщем равенстве...»

— «Вы подумайте, — я равна этому парню, с глазами вола, и другому, с птичьим лицом, мы все — вы, я и она — мы равны им, этим людям дурной крови! Людям, которых можно приглашать для того, чтобы они били подобных им, таких же зверей, как они...»

— Она говорила очень много и горячо, а я слушал и думал: «Так, синьора!» Я видел ее не в первый раз, и ты, конечно, знаешь, что никто не мечтает о женщине горячее, чем солдат. Разумеется, я представлял ее себе доброй, умной, с хорошим сердцем, и в то время мне казалось, что дворяне особенно умны.

— Спрашиваю товарища: «Ты понимаешь этот язык?»

Нет, он не понимал. Тогда я передал ему речь блондинки — парень рассердился, как чёрт, и запрыгал по комнате, сверкая глазом, — один глаз у него был завязан.

— «Вот как! — бормочет он. — Вот как! Она пользуется мной и — не считает меня человеком! Я ради нее позволяю оскорблять мое достоинство, и она же отрицает его! Ради сохранности ее имущества я рискую погубить душу...»

— Он был неглупый малый и почувствовал себя глубоко оскорбленным, я тоже. И на другой же день мы с ним уже говорили об этой даме громко, не стесняясь. Луото только мычал и советовал нам:

— «Осторожнее, дети мои! Не забывайте, что вы — солдаты и существует дисциплина!»

— Нет, мы это не забыли. Но очень многие — почти все, говоря правду, стали глухи и слепы, а эти молодцы крестьяне весьма умело пользовались нашей глухотой и слепотой. Они — выиграли. Они очень хорошо относились к нам; блондинке можно бы многому поучиться у них, например — они прекрасно научили бы ее, как

надо ценить честных людей. Когда мы уходили оттуда, куда пришли с намерением пролить кровь, многие из нас получили цветы. Когда мы шли по улицам деревни — в нас бросали уже не камнями и черепицей, а цветами, друг мой! Я думаю, что мы заслужили это. О дурной встрече можно забыть, получив хорошие проводы!

Он засмеялся, потом сказал:

— Вот это ты должен превратить в стихи, Винченцо...

Маляр, задумчиво улыбаясь, ответил:

— Да, это очень годится для поэмы! Я думаю, что сумею сделать ее. Когда человеку минет двадцать пять лет — он становится плохим лириком.

Он отбросил цветок, уже измятый, сорвал другой и оглянулся, тихо продолжая:

— Пройдя путь от груди матери на грудь возлюбленной, человек должен идти дальше, к другому счастью...

Слесарь молчал, колыхая вино в стакане. Мягко шумит море, там, внизу, за виноградниками, запах цветов плывет в жарком воздухе.

— Это солнце делает нас слишком ленивыми, слишком мягкими, — бормотал слесарь.

— Мне уже плохо удаются лирические стихи, я очень недоволен собою, — тихо говорит Винченцо, сдвигая тонкие брови.

— Ты сделал что-нибудь?

Маляр не сразу говорит:

— Да, вчера, на крыше отеля «Комо».

И читает вполголоса, задумчиво, певуче:

На берег пустынный, на старые серые камни

Осеннее солнце прощально и нежно упало.

На темные камни бросаются жадные волны

И солнце смывают в холодное синее море.

И медные листья деревьев, оборваны ветром осенним,

Мелькают сквозь пену прибоя, как пестрые мертвые птицы,

А бледное небо — печально, и гневное море — угрюмо.

Одно только солнце смеется, склоняясь покорно к закату.

Оба долго молчат; маляр, опустив голову, смотрит в землю,

большой, тяжелый слесарь улыбается и наконец говорит:

— Обо всем можно сказать красиво, но лучше всего — слово о хорошем человеке, песня о хороших людях!

XV

На террасу отеля, сквозь темно-зеленый полог виноградных лоз, золотым дождем льется солнечный свет — золотые нити, протянутые в воздухе. На серых кафлях пола и белых скатертях столов лежат странные узоры теней, и кажется, что, если долго смотреть на них, — научишься читать их, как стихи, поймешь, о чем они говорят. Гроздья винограда играют на солнце, точно жемчуг или странный мутный камень оливин, а в графине воды на столе — голубые бриллианты.

В проходе между столами лежит маленький кружевной платок. Конечно, его потеряла дама, и она божественно красива — иначе не может быть, иначе нельзя думать в этот тихий день, полный знойного лиризма, день, когда все будничное и скучное становится невидимым, точно исчезает от солнца, стыдясь само себя.

Тишина; только птицы щебечут в саду, гудят пчелы над цветами, да где-то на горе, среди виноградников, жарко вздыхает песня: поют двое мужчина и женщина, каждый куплет отделен от другого минутой молчания — это дает песне особую выразительность, что-то молитвенное.

Вот и дама медленно всходит из сада по широким ступеням мраморной лестницы; это старуха, очень высокого роста, темное строгое лицо, сурово нахмуренные брови, тонкие губы упрямо сжаты, как будто она только что сказала: «Нет!»

На ее сухих плечах широкая и длинная — точно плащ — накидка золотистого шелка, обшитая кружевами, седые волосы маленькой, не по росту, головы прикрыты черным кружевом, в одной руке — красный зонт, с длинной ручкой, в другой — черная бархатная сумка, шитая серебром. Она идет сквозь паутину лучей прямо, твердо, как солдат, и стучит концом зонта по звонким кафлям пола. В профиль ее лицо еще строже: нос загнут, подбородок остр, и на нем большая серая бородавка, выпуклый лоб тяжело навис над темными ямами, где в сетях морщин скрыты глаза. Они спрятаны так глубоко, что старуха кажется слепой.

За нею, переваливаясь с боку на бок, точно селезень, на ступенях лестницы бесшумно является квадратное тело горбуна, с большой,

тяжело опущенной головою в серой мягкой шляпе. Он держит руки в карманах жилета, это делает его еще более широким и угловатым. На нем белый костюм и белые же ботинки с мягкими подошвами. Рот его болезненно приоткрыт, видны желтые, неровные зубы, на верхней губе неприятно топорщатся темные усы, редкие и жесткие, он дышит часто и напряженно, нос его вздрагивает, но усы не шевелятся. Идет он, уродливо выворачивая короткие ноги, его огромные глаза скучно смотрят в землю. На этом маленьком теле — много больших вещей: велик золотой перстень с камеей на безымянном пальце левой руки, велик золотой, с двумя рубинами, жетон на конце черной ленты, заменяющей цепочку часов, а в синем галстуке слишком крупен опал, несчастливый камень.

И еще третья фигура, не спеша, входит на террасу, тоже старуха, маленькая и круглая, с добрым красным лицом, с бойкими глазами, должно быть — веселая и болтливая. Они проходят по террасе в дверь отеля, точно люди с картин Гогарта: некрасивые, печальные, смешные и чужие всему под этим солнцем, — кажется, что все меркнет и тускнеет при виде их.

Это — голландцы, брат и сестра, дети торговца бриллиантами и банкира, люди очень странной судьбы, если верить тому, что насмешливо рассказано о них.

Ребенком горбун был тих, незаметен, задумчив и не любил игрушек. Это ни в ком, кроме сестры, не возбуждало особенного внимания к нему — отец и мать нашли, что таков и должен быть неудавшийся человек, но у девочки, которая была старше брата на четыре года, его характер возбуждал тревожное чувство.

Почти все дни она проводила с ним, стараясь всячески возбудить в нем оживление, вызвать смех, подсовывала ему игрушки, — он складывал их, одну на другую, строя какие-то пирамиды, и лишь очень редко улыбался насильственной улыбкой, обычно же смотрел на сестру, как на всё, невеселым взглядом больших глаз, как бы ослепленных чем-то; этот взгляд раздражал ее.

— Не смей так смотреть, ты вырастешь идиотом! — кричала она, топая ногами, щипала его, била, он хныкал, защищал голову, взбрасывая длинные руки вверх, но никогда не убегал от нее и не жаловался на побои.

Позднее, когда ей показалось, что он может понимать то, что для

нее было уже ясно, она убеждала его:

— Если ты урод — ты должен быть умным, иначе всем будет стыдно за тебя, папе, маме и всем! Даже люди станут стыдиться, что в таком богатом доме есть маленький уродец. В богатом доме все должно быть красиво или умно — понимаешь?

— Да, — серьезно говорил он, склоняя свою большую голову набок и глядя в лицо ей темным взглядом неживых глаз.

Отец и мать любовались отношением девочки к брату, хвалили при нем ее доброе сердце, и незаметно она стала признанной наперсницей горбуна — учила его пользоваться игрушками, помогала готовить уроки, читала ему истории о принцах и феях.

Но, как и раньше, он складывал игрушки высокими кучами, точно стараясь достичь чего-то, а учился невнимательно и плохо, только чудеса сказок заставляли его нерешительно улыбаться, и однажды он спросил сестру:

— Принцы бывают горбаты?

— Нет.

— А рыцари?

— Конечно — нет!

Мальчик устало вздохнул, а она, положив руку на его жесткие волосы, сказала:

— Но мудрые волшебники всегда горбаты.

— Значит — я буду волшебником, — покорно заметил горбун, а потом, подумав, прибавил:

— А феи — всегда красивы?

— Всегда.

— Как ты?

— Может быть! Я думаю — даже более красивые, — честно сказала она.

Ему минуло восемь лет, и сестра заметила, что каждый раз во время прогулок, когда они проходили или проезжали мимо строящихся домов, на лице мальчика является выражение удивления, он долго, пристально смотрит, как люди работают, а потом вопросительно обращает свои немые глаза на нее.

— Это интересно тебе? — спросила она.

Малоречивый, он ответил:

— Да.

— Почему?

— Я не знаю.

Но однажды объяснил:

— Такие маленькие люди и кирпичики — а потом огромные дома. Так сделан весь город?

— Да, разумеется.

— И наш дом?

— Конечно!

Взглянув на него, она решительно сказала:

— Ты будешь знаменитым архитектором, вот что!

Ему купили множество деревянных кубиков, и с этой поры в нем жарко вспыхнула страсть к строительству: целыми днями он, сидя на полу своей комнаты, молча возводил высокие башни, которые с грохотом падали. Он строил их снова, и это стало так необходимо для него, что даже за столом, во время обеда, он пытался построить что-то из ножей, вилок и салфеточных колец. Его глаза стали сосредоточеннее и глубже, а руки ожили и непрерывно двигались, ощупывая пальцами каждый предмет, который могли взять.

Теперь, во время прогулок по городу, он готов был целые часы стоять против строящегося дома, наблюдая, как из малого растет к небу огромное; ноздри его дрожали, внюхиваясь в пыль кирпича и запах кипящей извести, глаза становились сонными, покрывались пленкой напряженной вдумчивости, и, когда ему говорили, что неприлично стоять на улице, он не слышал.

— Идем! — будила его сестра, дергая за руку. Он склонял голову и шел, все оглядываясь назад.

— Ты будешь архитектором, да? — внушала и спрашивала она.

— Да.

Однажды, после обеда, в гостиной, ожидая кофе, отец заговорил о том, что пора бросить игрушки и начать учиться серьезно, но сестра, тоном человека, чей ум признан и с кем нельзя не считаться, — спросила:

— Я надеюсь, папа, что вы не думаете отдать его в учебное заведение?

Большой, бритый, без усов, украшенный множеством сверкающих камней, отец проговорил, закуривая сигару:

— А почему бы и нет?

— Вы знаете — почему!

Так как речь шла о нем, горбун тихонько удалился; он шел медленно и слышал, как сестра говорила:

— Но ведь все будут смеяться над ним!

— Ах, да, конечно! — сказала мать густым голосом, сырым, точно осенний ветер.

— Таких, как он, надо прятать! — горячо говорила сестра.

— Ах, да, тут нечем гордиться! — сказала мать. — Сколько ума в этой головке, о!

— Пожалуй — вы правы, — согласился отец.

— Нет, сколько ума...

Горбун воротился, встал в двери и сказал:

— Я ведь тоже не глуп...

— Увидим, — молвил отец, а мать заметила:

— Никто не думает ничего подобного...

— Ты будешь учиться дома, — объявила сестра, усаживая его рядом с собою. — Ты будешь учиться всему, что надо знать архитектору, — это тебе нравится?

— Да. Ты увидишь.

— Что я увижу?

— Что мне нравится.

Она была немного выше его — на полголовы, — но заслоняла собою всё — и мать и отца. В ту пору ей было пятнадцать лет. Он был похож на краба, а она — тонкая, стройная и сильная — казалась ему феей, под властью которой жил весь дом и он, маленький горбун.

И вот к нему ходят вежливые, холодные люди, они что-то изъясняют, спрашивают, а он равнодушно сознается им, что не понимает наук, и холодно смотрит куда-то через учителей, думая о своем. Всем ясно, что его мысли направлены мимо обычного, он мало говорит, но иногда ставит странные вопросы:

— Что делается с теми, кто не хочет ничего делать?

Благовоспитанный учитель, в черном, наглухо застегнутом сюртуке, одновременно похожий на священника и воина, ответил:

— С такими людьми совершается всё дурное, что только можно представить себе! Так, например, многие из них становятся социалистами.

— Благодарю вас! — говорит горбун, — он держится с учителями корректно и сухо, как взрослый. — А что такое — социалист?

— В лучшем случае — фантазер и лентяй, вообще же — нравственный урод, лишенный представления о боге, собственности и нации.

Учителя всегда отвечали кратко, их ответы ложились в память плотно, точно камни мостовой.

— Нравственным уродом может быть и старуха?

— О, конечно, среди них...

— И — девочка?

— Да. Это — врожденное свойство...

Учителя говорили о нем:

— У него слабые способности к математике, но большой интерес к вопросам морали...

— Ты много говоришь, — сказала ему сестра, узнав о его беседах с учителями.

— Они говорят больше.

— И ты мало молишься богу....

— Он не исправит мне горба...

— Ах, вот как ты начал думать! — с изумлением воскликнула она и заявила:

— Я прощаю тебе это, но — забудь все подобное, — слышишь?

— Да.

Она уже носила длинные платья, а ему исполнилось тринадцать лет.

С этого времени на нее обильно посыпались неприятности: почти каждый раз, когда она входила в рабочую комнату брата, к ногам ее падали какие-то брусья, доски, инструменты, задевая то плечо, то голову ее, отбивая ей пальцы, — горбун всегда предупреждал ее криком:

— Берегись!

Но — всегда опаздывал, и она испытывала боль. Однажды, прихрамывая, она подскочила к нему, бледная, злая, крикнула в лицо ему:

— Ты нарочно делаешь это, урод! — и ударила его по щеке.

Ноги у него были слабые, он упал и, сидя на полу, тихо, без слез и без обиды сказал ей:

— Как ты можешь думать это? Ведь ты любишь меня — не правда ли? Ты меня любишь?

Она убежала, охая, потом пришла объясняться.

— Видишь ли — раньше этого не было...

— И этого тоже, — спокойно заметил он, сделав длинной рукою широкий круг: в углах комнаты были нагромождены доски, ящики, все имело очень хаотичный вид, столярный и токарный станки у стен были завалены деревом.

— Зачем ты натаскал столько этой дряни? — спросила она, брезгливо и недоверчиво оглядываясь.

— Ты увидишь!

Он уже начал строить: сделал домик для кроликов и конуру для собаки, придумывал крысоловку, — сестра ревниво следила за его работами и за столом с гордостью рассказывала о них матери и отцу, — отец, одобрительно кивая головою, говорил:

— Все началось с мелочей, и всегда все так начинается!

А мать, обнимая ее, спрашивала сына:

— Ты понимаешь, как надо ценить ее заботы о тебе?

— Да, — отзывался горбун.

Когда он сделал крысоловку, то позвал сестру к себе и, показывая ей неуклюжее сооружение, сказал:

— Это уже не игрушка, и можно взять патент! Смотри — как просто и сильно, дотронься здесь.

Девушка дотронулась, что-то хлопнуло, и она дико закричала, а горбун, прыгая вокруг нее, бормотал:

— О, не та, не та...

Прибежала мать, явились слуги. Разломали аппарат для ловли крыс, освободили прищемленный, посиневший палец девушки и унесли ее в обмороке.

Вечером его позвали к сестре, и она спросила:

— Ты сделал это нарочно, ты ненавидишь меня, — за что?

Встряхивая горбом, он отвечал, тихо и спокойно:

— Просто ты дотронулась не тою рукой.

— Ты — лжешь!

— Но — зачем я стану портить тебе руки? Ведь это даже не та рука, которой ты ударила меня...

— Смотри, урод, ты не умнее меня!..

Он согласился:

— Я знаю.

Угловатое лицо его было, как всегда, спокойно, глаза смотрели сосредоточенно — не верилось, что он зол и может лгать.

После этого она стала не так часто заходить к нему. Ее посещали подруги — шумные девочки в разноцветных платьях, они славно бегали по большим, немножко холодным и угрюмым комнатам, — картины, статуи, цветы и позолота — все становилось теплее при них. Иногда сестра приходила с ними в его комнату, — они чопорно протягивали ему маленькие пальчики с розовыми ногтями, дотрагиваясь до его руки так осторожно, точно боялись сломать ее. Разговаривали они с ним особенно кротко и ласково, с удивлением, но без интереса осматривая горбуна среди его инструментов, чертежей, кусков дерева и стружек. Он знал, что все девочки зовут его «изобретателем», — это сестра внушила им, — и что от него ждут в будущем чего-то, что должно прославить имя его отца, — сестра говорила об этом уверенно.

— Он, конечно, некрасив, но — очень умный, — часто напоминала она.

Ей было девятнадцать лет, и она уже имела жениха, когда отец и мать погибли в море, во время прогулки на увеселительной яхте, разбитой и потопленной пьяным штурманом американского грузовика; она тоже должна была ехать на эту прогулку, но у нее неожиданно заболели зубы.

Когда пришло известие о смерти отца и матери, она, забыв свою зубную боль, бегала по комнате и кричала, воздевая руки:

— Нет, нет, этого не может быть!

Горбун стоял у двери, кутаясь портьерой, внимательно смотрел на нее и говорил, встряхивая горб:

— Отец был такой круглый и пустой — я не понимаю, как он мог утонуть...

— Молчи, ты никого не любишь! — кричала сестра.

— Я просто не умею говорить ласковых слов, — сказал он.

Труп отца не нашли, а мать была убита раньше, чем упала в воду, — ее вытащили, и она лежала в гробу такая же сухая и ломкая, как мертвая ветвь старого дерева, какую была и при жизни.

— Вот мы остались с тобою одни, — строго и печально сказала

сестра брату после похорон матери, отодвигая его от себя острым взглядом серых глаз. — Нам будет трудно, мы ничего не знаем и можем много потерять. Так жаль, что я не могу сейчас же выйти замуж!

— О! — воскликнул горбун.

— Что такое — о?

Он, подумав, сказал:

— Мы — одни.

— Ты так говоришь это, точно тебя что-то радует!

— Я ничему не радуюсь.

— Это тоже очень жаль! Ты ужасно мало похож на живого человека.

Вечерами приходил ее жених — маленький, бойкий человечек, белобрысый, с пушистыми усами на загорелом, круглом лице; он, не уставая, смеялся целый вечер и, вероятно, мог бы смеяться целый день. Они уже были обручены, и для них строился новый дом в одной из лучших улиц города — самой чистой и тихой. Горбун никогда не был на этой стройке и не любил слушать, когда говорили о ней. Жених хлопал его по плечам маленькой, пухлой рукой, с кольцами на ней, и говорил, оскаливая множество мелких зубов:

— Тебе надо пойти посмотреть это, а? Как ты думаешь?

Он долго отказывался под разными предлогами, наконец уступил и пошел с ним и сестрой, а когда они двое взошли на верхний ярус лесов, то упали оттуда — жених прямо на землю, в творило с известью, а брат зацепился платьем за леса, повис в воздухе и был снят каменщиками.

Он только вывихнул ногу и руку, разбил лицо, а жених переломил позвоночник и распорол бок.

Сестра билась в судорогах, руки ее царапали землю, поднимая белую пыль; она плакала долго, больше месяца, а потом стала похожа на мать, похудела, вытянулась и начала говорить сырым, холодным голосом:

— Ты — мое несчастье!

Он отмалчивался, опуская свои большие глаза в землю. Сестра оделась в черное, свела брови в одну линию и, встречая брата, стискивала зубы так, что скулы ее выдвигались острыми углами, а он старался не попадаться на глаза ей и все составлял какие-то

чертежи, одинокий, молчаливый. Так он жил вплоть до совершеннолетия, а с этого дня между ними началась открытая борьба, которой они отдали всю жизнь, — борьба, связавшая их крепкими звеньями взаимных оскорблений и обид.

В день совершеннолетия он сказал ей тоном старшего:

— Нет ни мудрых волшебников, ни добрых фей, есть только люди, одни злые, другие — глупые, а все, что говорят о добре, — это сказка! Но я хочу, чтобы сказка была действительностью. Помнишь, ты сказала: «В богатом доме все должно быть красиво или умно»? В богатом городе тоже должно быть все красиво. Я покупаю землю за городом и буду строить там дом для себя и уродов, подобных мне, я выведу их из этого города, где им слишком тяжело жить, а таким, как ты, неприятно смотреть на них...

— Нет, — сказала она, — ты, конечно, не сделаешь этого! Это — безумная идея!

— Это — твоя идея.

Они поспорили, сдержанно и холодно, как спорят люди большой ненависти друг ко другу, когда им нет надобности скрывать эту ненависть.

— Это решено! — сказал он.

— Не мною, — ответила сестра.

Он приподнял горб и ушел, а через некоторое время сестра узнала, что земля куплена и, более того, землекопы уже роют рвы под фундамент, десятки телег свозят кирпич, камень, железо и дерево.

— Ты все еще чувствуешь себя мальчишкой? — спросила она. — Ты думаешь, это игра?

Он молчал.

Раз в неделю его сестра — сухая, стройная и гордая — отправлялась за город в маленькой коляске, сама правя белой лошадью, и, медленно проезжая мимо работ, холодно смотрела, как красное мясо кирпичей связывается сухожилиями железных балок, а желтое дерево ложится в тяжелую массу нервными нитями. Она видела издали фигуру брата, похожего на краба, он ползал по лесам, с тростью в руке, в измятой шляпе, пыльный, серый, точно паук; потом, дома, она пристально смотрела в его возбужденное лицо, в темные глаза — они стали мягче и яснее.

— Нет, — тихо говорил он, — я хорошо придумал, одинаково хорошо для вас и для нас! Это чудесное дело — строить, и мне кажется, что я скоро буду считать себя счастливым человеком...

Она спросила, загадочно измеряя глазами его уродливое тело:

— Счастливым?

— Да! Знаешь, — люди, которые работают, совершенно не похожи на нас, они возбуждают особенные мысли. Как хорошо, должно быть, чувствует себя каменщик, проходя по улицам города, где он строил десятки домов! Среди рабочих — много социалистов, они, прежде всего, трезвые люди, и, право, у них есть свое чувство достоинства. Иногда мне кажется, что мы плохо знаем свой народ...

— Странно ты говоришь, — заметила она.

Горбун оживал, становясь с каждым днем все разговорчивее.

— В сущности, все идет так, как хотелось тебе: вот я становлюсь мудрым волшебником, освобождаю город от уродов, ты же могла бы, если б хотела, быть доброй феей!

Почему ты не отвечаешь?

— Мы поговорим об этом после, — сказала она, играя золотой цепью часов.

Однажды он заговорил языком, совершенно незнакомым ей:

— Может быть, я виноват перед тобою больше, чем ты предо мною...

Она удивилась.

— Я — виновата? Пред тобою?

— Подожди! Честное слово — я не так виноват, как ты думаешь! Ведь я хожу плохо, быть может, я толкнул его тогда, — но тут не было злого намерения, нет, поверь! Я гораздо более виновен в том, что хотел испортить руку, которую ты ударила меня...

— Оставим это! — сказала она.

— Мне кажется — нужно быть добрее! — бормотал горбун. — Я думаю, что добро — не сказка, оно возможно.

Огромное здание за городом росло с великою быстротой, ширилось по жирной земле и поднималось в небо, всегда серое, всегда грозившее дождем.

Однажды на работы явилась кучка официальных людей, они осмотрели построенное и, тихо поговорив между собою, запретили строить далее.

— Это сделала ты! — закричал горбун, бросаясь на сестру и схватив ее за горло длинными, сильными руками, но откуда-то явились чужие люди, оторвали его от нее, и сестра сказала им:

— Вы видите, господа, что он действительно ненормален и опека необходима! Это началось с ним тотчас после смерти отца, которого он страстно любил, спросите слуг — они все знают о его болезни. Они молчали до последнего времени — это хорошие люди, им дорога честь дома, где многие из них живут с детства. Я тоже скрывала несчастье — ведь нельзя гордиться тем, что брат безумен...

У него посинело лицо и глаза выкатились из орбит, когда он слушал эту речь, он онемел и молча царапал ногтями руки людей, державших его, а она продолжала:

— Разорительная затея с этим домом, который я намерена отдать городу под психиатрическую лечебницу имени моего отца...

Он завизжал, лишился сознания, и его увезли.

Сестра продолжала и закончила постройку с тою же быстротою, с которой он вел ее, а когда дом был совершенно отстроен, первым пациентом вошел в него ее брат. Семь лет провел он там — время, вполне достаточное для того, чтобы превратиться в идиота; у него развилась меланхолия, а сестра его за это время постарела, лишилась надежд быть матерью, и когда, наконец, увидала, что враг ее убит и не воскреснет, — взяла его на свое попечение.

И вот они кружатся по земному шару туда и сюда, точно ослепленные птицы, бессмысленно и безрадостно смотрят на все и нигде ничего не видят, кроме самих себя.

XVI

Синяя вода кажется густою, как масло, винт парохода работает в ней мягко и почти бесшумно. Не вздрагивает палуба под ногами, только напряженно трясется мачта, устремленная в ясное небо; тихонько поют тросы, натянутые, точно струны, но — к этому трепету уже привык, не замечаешь его, и кажется, что пароход, белый и стройный, точно лебедь, — неподвижен на скользкой воде. Чтобы заметить движение, нужно взглянуть за борт: там от белых бортов отталкивается зеленоватая волна, морщится и широкими мягкими складками бежит прочь, изгибаясь, сверкая ртутью и сонно журча.

Утро, еще не совсем проснулось море, в небе не отцвели розовые краски восхода, но уже прошли остров Горгону — поросший лесом, суровый одинокий камень, с круглой серой башней на вершине и толпою белых домиков у заснувшей воды. Несколько маленьких лодок стремительно проскользнули мимо бортов парохода, — это люди с острова идут за сардинами. В памяти остается мерный плеск длинных весел и тонкие фигуры рыбаков, — они гребут стоя и качаются, точно кланяясь солнцу.

За кормой парохода — широкая полоса зеленоватой пены, над нею лениво носятся чайки; иногда неизвестно откуда является питон, вытянувшись, как сигара, летит бесшумно над самою водой и вдруг вонзается в нее, точно стрела.

Вдали облачно встают из моря берега Лигурии — лиловые горы; еще два-три часа, и пароход войдет в тесную гавань мраморной Генуи.

Всё выше поднимается солнце, обещая жаркий день.

На палубу выбежали двое лакеев; один молодой, тоненький и юркий, неаполитанец, с неуловимым выражением подвижного лица, другой — человек среднего возраста, седоусый, чернобровый, в серебряной щетине на круглом черепе; у него горбатый нос и серьезные умные глаза. Шутя и смеясь, они быстро накрыли стол для кофе и убежали, а на смену, гуськом, один за другим из кают медленно вылезли пассажиры: толстяк, с маленькой головой и оплывшим лицом, краснощекий, но грустный и устало

распустивший пухлые малиновые губы; человек в серых бакенбардах, высокий, весь какой-то выглаженный, с незаметными глазами и маленьким носом-пуговкой на желтом плоском лице; за ними, споткнувшись о медь порога, выпрыгнул рыжий круглый мужчина с брюшком, воинственно закрученными усами, в костюме альпиниста и в шляпе с зеленым пером. Все трое встали к борту, толстый печально прищурил глаза и сказал:

— Вот как тихо, а?

Человек с бакенбардами сунул руки в карманы, расставил ноги и стал похож на открытые ножницы. Рыжий вынул золотые часы, большие, как маятник стенных часов, поглядел на них, в небо и вдоль палубы, потом начал свистать, раскачивая часы и притопывая ногою.

Явились две дамы — одна молодая, полная, с фарфоровым лицом и ласковыми, молочно-синими глазами, темные брови ее словно нарисованы и одна выше другой; другая — старше, остроносая, в пышной прическе выцветших волос, с большой черной родинкой на левой щеке, с двумя золотыми цепями на шее, лорнетом и множеством брелочков у пояса серого платья.

Подали кофе. Молодая молча села к столу и начала разливать черную влагу, как-то особенно округляя обнаженные до локтей руки. Мужчины подошли к столу, молча сели, толстый взял чашку и вздохнул, сказав:

— День будет жаркий...

— Ты капаешь себе на колени, — заметила старшая дама.

Он наклонил голову — подбородок и щеки его расплылись, упираясь в грудь, — поставил чашку на стол, смахнул платком капли кофе с серых брюк и вытер потное лицо.

— Да! — неожиданно громко заговорил рыжий, шаркая короткими ногами. Да, да! Если даже левые стали жаловаться на хулиганство, значит...

— Подожди трещать, Иван! — перебила старшая дама. — Лиза не выйдет?

— Ей нехорошо, — звучно ответила молодая.

— Но ведь море спокойно...

— Ах, когда женщина в таком положении...

Толстый улыбнулся и сладостно закрыл глаза.

За бортом, разрывая спокойную гладь моря, кувыркались дельфины, человек с бакенбардами внимательно посмотрел на них и сказал:

— Дельфины похожи на свиней.

Рыжий отозвался:

— Здесь вообще много свинства.

Бесцветная дама поднесла к носу чашку, понюхала кофе, брезгливо сморщилась.

— Отвратительно!

— А молоко, а? — поддержал толстый, испуганно мигая.

Дама с фарфоровым лицом пропела:

— И всё — грязно, грязно! И все ужасно похожи на жидов...

Рыжий, захлебываясь словами, всё время говорил о чем-то на ухо человеку с бакенбардами, точно отвечал учителю, хорошо зная урок и гордясь этим. Его слушателю было щекотно и любопытно, он легонько качал головою из стороны в сторону, и на его плоском лице рот зиял, точно щель на разохшейся доске. Иногда ему хотелось сказать что-то, он начинал странным, мохнатым голосом:

— У меня в губернии...

И, не продолжая, снова внимательно склонял голову к усам рыжего.

Толстый тяжело вздохнул, сказав:

— Как ты жужжишь, Иван...

— Ну — дайте мне кофе!

Он подвинулся к столу, со скрипом и треском, а собеседник его значительно проговорил:

— Иван имеет идеи.

— Ты не выспался, — сказала старшая дама, посмотрев в лорнет на бакенбардиста, — тот провел рукою по лицу, взглянул на ладонь.

— Мне кажется, что я напудрен, а тебе не кажется этого?

— Ах, дядя! — воскликнула молодая. — Это же особенность Италии! Здесь ужасно сохнет кожа!

Старшая дама спросила:

— Ты замечаешь, Лиди, какой у них скверный сахар?

На палубу вышел крупный человек, в шапке седых кудрявых волос, с большим носом, веселыми глазами и с сигарой в зубах, — лакеи, стоявшие у борта, почтительно поклонились ему.

— Добрый день, ребята, добрый день! — благосклонно кивая головою, сказал он громко, хриплым голосом.

Русские замолчали, искоса поглядывая на него, усатый Иван вполголоса сообщил:

— Отставной военный, сразу видно...

Заметив, что на него смотрят, седой вынул сигару изо рта и вежливо поклонился русским, — старшая дама вздернула голову вверх и, приставив к носу лорнет, вызывающе оглядела его, усач почему-то сконфузился, быстро отвернувшись, выхватил из кармана часы и снова стал раскачивать их в воздухе. На поклон ответил только толстяк, прижав подбородок ко груди, это смутило итальянца, он нервно сунул сигару в угол рта и вполголоса спросил пожилого лакея:

— Русские?

— Да, сударь! Русский губернатор с его фамилией...

— Какие у них всегда добрые лица...

— Очень хороший народ...

— Лучшие из славян, конечно...

— Немножко небрежны, сказал бы я...

— Небрежны? Разве?

— Мне так кажется — небрежны к людям.

Толстый русский покраснел и, широко улыбаясь, сказал негромко:

— Про нас говорит...

— Что? — брезгливо сморщив лицо, спросила старшая.

— Лучшие, говорит, славяне, — ответил толстяк, хихикнув.

— Они — льстивы, — заявила дама, а рыжий Иван спрятал часы и, закручивая усы обеими руками, пренебрежительно проговорил:

— Все они изумительно невежественны в отношении к нам...

— Тебя — хвалят, — сказал толстый, — а ты находишь, что это по невежеству...

— Глупости! Я не о том, а вообще... Я сам знаю, что мы — лучшие.

Человек с бакенбардами, все время внимательно следивший, как играют дельфины, вздохнул и, покачивая головою, заметил:

— Какая глупая рыба!

К седому итальянцу подошли еще двое: старик, в черном сюртуке, в очках, и длинноволосый юноша, бледный, с высоким

лбом, густыми бровями; они все трое встали к борту, шагах в пяти от русских, седой тихонько говорил:

— Когда я вижу русских — я вспоминаю Мессину...

— Помните, как мы встречали матросов в Неаполе? — спросил юноша.

— Да! Они не забудут этот день в своих лесах!

— Видели вы медаль в честь их?

— Мне не нравится работа.

— О Мессине говорят, — сообщил толстый своим.

— И — смеются! — воскликнула молодая дама. — Удивительно!

Чайки нагнали пароход, одна из них, сильно взмахивая кривыми крыльями, повисла над бортом, и молодая дама стала бросать ей бисквиты. Птицы, ловя куски, падали за борт и снова, жадно вскрикивая, поднимались в голубую пустоту над морем. Итальянцам принесли кофе, они тоже начали кормить птиц, бросая бисквиты вверх, — дама строго сдвинула брови и сказала:

— Вот обезьяны!

Толстый вслушался в живую беседу итальянцев и снова сообщил:

— Он не военный, а купец, говорит о торговле с нами хлебом и что они могли бы покупать у нас также керосин, лес и уголь.

— Я сразу видела, что не военный, — призналась старшая дама.

Рыжий опять начал говорить о чем-то в ухо бакенбардисту, тот слушал его и скептически растягивал рот, а юноша итальянец говорил, искоса поглядывая в сторону русских:

— Как жаль, что мы мало знаем эту страну больших людей с голубыми глазами!

Солнце уже высоко и сильно жжет, ослепительно блестит море, вдали, с правого борта, из воды растут горы или облака.

— Annette, — говорит бакенбардист, улыбаясь до ушей, — послушай, что выдумал этот забавный Жан, — какой способ уничтожить бунтовщиков в деревнях, это очень остроумно!

И, покачиваясь на стуле, медленно и скучно он рассказывал, как будто переводя с чужого языка:

— Нужно, говорит он, чтобы во дни ярмарок, а также сельских праздников, чтоб местный земский начальник заготовил, за счет казны, колья и камни, а потом он ставил бы мужикам — тоже за счет казны — десять, двадцать, пятьдесят — смотря по количеству людей

— ведер водки, — больше ничего не нужно!
— Я не понимаю! — заявила старшая дама. — Это — шутка?

Рыжий быстро ответил:

— Нет, серьезно! Вы подумайте, ma tante... [7]

Молодая дама, широко открыв глаза, пожала плечами.

— Какой вздор! Поить водкой от казны, когда они и так...

— Нет, подожди, Лидия! — вскричал рыжий, подскакивая на стуле. Бакенбардист беззвучно смеялся, широко открыв рот и качаясь из стороны в сторону.

— Ты подумай — те хулиганы, которые не успеют опиться, перебьют друг друга кольями и камнями, — ясно?

— Почему — друг друга? — спросил толстяк.

— Это — шутка? — снова осведомилась старшая дама.

Рыжий, плавно разводя короткими руками, горячо доказывал:

— Когда их укрощают власти — левые кричат о жестокостях и зверстве, значит — нужно найти способ, чтобы они сами себя укротили, — так?

Пароход качнуло, полная дама испуганно схватилась за стол, задрезжала посуда, дама постарше, положив руку на плечо толстяка, строго спросила:

— Это что такое?

— Мы поворачиваем...

Все выше и отчетливее поднимаются из воды берега — холмы и горы, окутанные мглой, покрытые садами. Сизые камни смотрят из виноградников, в густых облаках зелени прячутся белые дома, сверкают на солнце стекла окон, и уже заметны глазу яркие пятна; на самом берегу приютился среди скал маленький дом, фасад его обращен к морю и весь завешен тяжелою массою ярко-лиловых цветов, а выше, с камней террасы, густыми ручьями льется красная герань. Краски веселы, берег кажется ласковым и гостеприимным, мягкие очертания гор зовут к себе, в тень садов.

— Как тут тесно все, — вздохнув, сказал толстый; старшая дама непримиримо посмотрела на него, потом — в лорнет — на берег и плотно поджала тонкие губы, вздернув голову вверх.

На палубе уже много смуглых людей в легких костюмах, они шумно беседуют, русские дамы смотрят на них пренебрежительно, точно королевы на подданных.

— Как они машут руками, — говорит молодая; толстяк, отдуваясь, поясняет:

— Это уж свойство языка, он — беден и требует жестов...

— Боже мой! Боже мой! — глубоко вздыхает старшая, потом, подумав, спрашивает:

— Что, в Генуе тоже много музеев?

— Кажется, только три, — ответил ей толстый.

— И это кладбище? — спросила молодая.

— Кампо Санто. И церкви, конечно.

— А извозчики — скверные, как в Неаполе?

Рыжий и бакенбардист встали, отошли к борту и там озабоченно беседуют, перебивая друг друга.

— Что говорит итальянец? — спрашивает дама, оправляя пышную прическу. Локти у нее острые, уши большие и желтые, точно увядшие листья. Толстый внимательно и покорно вслушивается в бойкий рассказ кудрявого итальянца.

— У них, синьоры, существует, должно быть, очень древний закон, воспрещающий евреям посещать Москву, — это, очевидно, пережиток деспотизма, знаете — Иван Грозный! Даже в Англии есть много архаических законов, не отмененных и по сегодня. А может быть, этот еврей мистифицировал меня, одним словом, он почему-то не имел права посетить Москву — древний город царей, святынь...

— А у нас, в Риме — мэ́р иудей, — в Риме, который древнее и священнее Москвы, — сказал юноша, усмехаясь.

— И ловко бьет папу-портного!^[8] — вставил старик в очках, громко хлопнув в ладоши.

— О чем кричит старик? — спросила дама, опуская руки.

— Ерунда какая-то. Они говорят на неаполитанском диалекте...

— Он приехал в Москву, нужно иметь кров, и вот этот еврей идет к проститутке, синьоры, больше некуда, — так говорил он...

— Басня! — решительно сказал старик и отмахнулся рукой от рассказчика.

— Говоря правду, я тоже думаю так.

— А что было далее? — спросил юноша.

— Она выдала его полиции, но сначала взяла с него деньги, как будто он пользовался ею...

— Гадость! — сказал старик. — Он человек грязного воображения, и только. Я знаю русских по университету — это добрые ребята...

Толстый русский, отирая платком потное лицо, сказал дамам, лениво и равнодушно:

— Он рассказывает еврейский анекдот.

— С таким жаром! — усмехнулась молодая дама, а другая заметила:

— В этих людях, с их жестами и шумом, есть все-таки что-то скучное...

На берегу растет город; поднимаются из-за холмов дома и, становясь все теснее друг ко другу, образуют сплошную стену зданий, точно вырезанных из слоновой кости и отражающих солнце.

— Похоже на Ялту, — определяет молодая дама, вставая. — Я пойду к Лизе.

Покачиваясь, они медленно понесла по палубе свое большое тело, окутанное голубоватой материей, а когда поравнялась с группой итальянцев, седой прервал свою речь и сказал тихонько:

— Какие прекрасные глаза!

— Да, — качнул головою старик в очках. — Вот такова, вероятно, была Базилида!

— Базилида — византиянка?

— Я вижу ее славянкой...

— Говорят о Лидии, — сказал толстый.

— Что? — спросила дама. — Конечно, пошлости?

— О ее глазах. Хвалят...

Дама сделала гримасу.

Сверкая медью, пароход ласково и быстро прижимался все ближе к берегу, стало видно черные стены мола, из-за них в небо поднимались сотни мачт, кое-где неподвижно висели яркие лоскутья флагов, черный дым таял в воздухе, доносился запах масла, угольной пыли, шум работ в гавани и сложный гул большого города.

Толстяк вдруг рассмеялся.

— Ты — что? — спросила дама, прищурив серые, полинявшие глаза.

— Разгромят их немцы, ей-богу, вот увидите!

— Чему же ты радуешься?

— Так...

Бакенбардист, глядя под ноги себе, спросил рыжего, громко и строго грамматически:

— Был ли бы ты доволен этим сюрпризом или нет?

Рыжий, свирепо закручивая усы, не ответил.

Пароход пошел тише. О белые борта плескалась и всхлипывала, точно жалуясь, мутно-зеленая вода; мраморные дома, высокие башни, ажурные террасы не отражались в ней. Раскрылась черная пасть порта, тесно набитая множеством судов.

XVII

...За железный столик у двери ресторана сел человек в светлом костюме, сухой и бритый, точно американец, — сел и лениво поет:

— Га-агсон-н...

Всё вокруг густо усеяно цветами акации — белыми и точно золото: всюду блестят лучи солнца, на земле и в небе — тихое веселье весны. Посредине улицы, щелкая копытами, бегут маленькие ослики, с мохнатыми ушами, медленно шагают тяжелые лошади, не торопясь идут люди, — ясно видишь, что всему живому хочется как можно дольше побыть на солнце, на воздухе, полном медового запаха цветов.

Мелькают дети — герольды весны, солнце раскрашивает их одежды в яркие цвета; покачиваясь, плывут пестро одетые женщины, — они так же необходимы в солнечный день, как звезды ночью.

Человек в светлом костюме имеет странный вид: кажется, что он был сильно грязен и только сегодня его вымыли, но так усердно, что уж навсегда стерли с него все яркое. Он смотрит вокруг полинявшими глазами, словно считая пятна солнца на стенах домов и на всем, что движется по темной дороге, по широким плитам бульвара. Его вялые губы сложены цветком, он тихо и тщательно высвистывает странный и печальный мотив, длинные пальцы белой руки барабанят по гулкому краю стола — тускло поблескивают ногти, — а в другой руке желтая перчатка, он отбивает ею на колене такт. У него лицо человека умного и решительного — так жаль, что оно стерто чем-то грубым, тяжелым.

Почтительно поклонись, гарсон ставит перед ним чашку кофе, маленькую бутылочку зеленого ликера и бисквиты, а за столик рядом — садится широкогрудый человек с агатовыми глазами, — щеки, шея, руки его закопчены дымом, весь он — угловат, металлически крепок, точно часть какой-то большой машины.

Когда глаза чистого человека устало останавливаются на нем, он, чуть приподнявшись, дотронулся рукою до шляпы и сказал, сквозь густые усы:

— Добрый день, господин инженер.

— Ба, снова вы, Трама!

— Да, это я, господин инженер...

— Нужно ждать событий, а?

— Как идет ваша работа?

Инженер сказал, с маленькой усмешкой на тонких губах:

— Мне кажется — нельзя беседовать одними вопросами, мой друг...

А его собеседник, сдвинув шляпу на ухо, открыто и громко смеется и сквозь смех говорит:

— О да! Но, честное слово, так хочется знать...

Пегий, шершавый ослик, запряженный в тележку с углем, остановился, вытянул шею и — прискорбно закричал, но, должно быть, ему не понравился свой голос в этот день, — сконфуженно оборвав крик на высокой ноте, он встряхнул мохнатыми ушами и, опустив голову, побежал дальше, цокая копытами.

— Я жду вашу машину с таким же нетерпением, как ждал бы новую книгу, которая обещает сделать меня умней...

Инженер сказал, прихлебывая кофе:

— Не совсем понимаю сравнение...

— Разве вы не думаете, что машина так же освобождает физическую энергию человека, как хорошая книга его дух?

— А! — сказал инженер, дернув головою вверх. — Так!

И спросил, ставя на стол пустую чашку:

— Вы, конечно, начнете агитацию?

— Я уже начал...

— Снова — стачки, беспорядки, да?

Тот пожал плечами, мягко улыбаясь.

— Если б можно было без этого...

Старуха в черном платье, суровая, точно монахиня, молча предложила инженеру букетик фиалок, он взял два и один протянул собеседнику, задумчиво говоря:

— У вас, Трама, такой хороший мозг, и, право, жаль, что вы идеалист...

— Благодарю за цветы и комплимент. Вы сказали — жаль?

— Да! Вы, в сущности, поэт, и вам надо учиться, чтобы стать дельным инженером...

Трама, тихонько смеясь, обнажая белые зубы, говорил:

— О, это верно! Инженер — поэт, я убедился в этом, работая с вами...

— Вы — любезный человек...

— И я думал — отчего бы господину инженеру не сделаться социалистом? Социалисту тоже надо быть поэтом...

Они засмеялись, оба одинаково умно глядя друг на друга, удивительно разные, один — сухой, нервный, стертый, с выцветшими глазами, другой точно вчера выкован и еще не отшлифован.

— Нет, Трама, я предпочел бы иметь свою мастерскую и десятка три вот таких молодцов, как вы. Ого, тут мы сделали бы кое-что...

Он тихонько ударил пальцами по столу и вздохнул, вдевая в петлицу цветы.

— Чёрт возьми, — возбуждаясь, вскричал Трама, — какие пустяки мешают жить и работать...

— Это вы историю человечества называете пустяками, мастер Трама? тонко улыбаясь, спросил инженер; рабочий сдернул шляпу, взмахнул ею и заговорил, горячо и живо:

— Э, что такое история моих предков?

— Ваших предков? — переспросил инженер, подчеркнув первое слово еще более острой улыбкой.

— Да, моих! Это — дерзость? Пусть будет дерзость!

Но — почему Джордано Бруно, Вико и Мадзини не предки мои — разве я живу не в их мире, разве я не пользуюсь тем, что посеяли вокруг меня их великие умы?

— А, в этом смысле!

— Всё, что дано миру отошедшими из него, — дано мне!

— Конечно, — сказал инженер, серьезно сдвинув брови.

— И всё, что сделано до меня — до нас, — руда, которую мы должны сделать сталью, — не правда ли?

— Почему — нет? Это — ясно!

— Ведь и вы, ученые, как мы, рабочие, — вы живете за счет работы умов прошлого.

— Я не спорю, — сказал инженер, склоняя голову; около него стоял мальчик в серых лохмотьях, маленький, точно мяч, разбитый игрою; держа в грязных лапах букетик крокусов, он настойчиво

говорил:

— Возьмите у меня цветов, синьор...

— Я уже имею...

— Цветов никогда не бывает достаточно...

— Bravo, малыш! — сказал Трама. — Bravo, и мне дай два...

А когда мальчишка дал ему цветы, он, приподняв шляпу, предложил инженеру:

— Угодно?

— Благодарю.

— Чудесный день, не правда ли?

— Это чувствуешь даже в мои пятьдесят лет...

Он задумчиво оглянулся, прищурился глазами, потом — вздохнул.

— Вы, я думаю, должны особенно сильно чувствовать игру весеннего солнца в жилах, это не потому только, что вы молоды, но — как я вижу — весь мир для вас — иной, чем для меня, да?

— Не знаю, — сказал тот, усмехаясь, — но жизнь — прекрасна!

— Своими обещаниями? — скептически спросил инженер, и этот вопрос как бы задел его собеседника, — надев шляпу, он быстро сказал:

— Жизнь прекрасна всем, что мне нравится в ней!

Чёрт побери, дорогой мой инженер, для меня слова не только звуки и буквы, — когда я читаю книгу, вижу картину, любуюсь прекрасным, — я чувствую себя так, как будто сам сделал все это!

Оба засмеялись, один — громко и открыто, точно хвастаясь своим умением хохотать, откинув голову назад, выпятив широкую грудь, другой — почти беззвучно, всхлипывающим смехом, обнажая зубы, в которых завязло золото, словно он недавно жевал его и забыл почистить зеленоватые кости зубов.

— Вы — бравый парень, Трама, вас всегда приятно видеть, — сказал инженер и, подмигнув, добавил: — Если только вы не бунтуете...

— О, я всегда бунтую...

И, скорчив серьезную мину, прищурился бездонные черные глаза, он спросил:

— Надеюсь — мы тогда вели себя вполне корректно?

Пожав плечами, инженер встал.

— О да. Да! Эта история — вы знаете? — стоила предприятию

тридцать семь тысяч лир...

— Было бы благоразумнее включить их в заработную плату...

— Гм! Вы — плохо считаете. Благоразумие? Оно свое у каждого зверя.

Он протянул сухую желтую руку и, когда рабочий пожимал ее, сказал:

— Я все-таки повторяю, что вам следует учиться и учиться...

— Каждую минуту я учусь...

— Из вас выработался бы инженер с доброй фантазией.

— Э, фантазия не мешает мне жить и теперь...

— До свиданья, упрямец...

Инженер пошел под акациями, сквозь сеть солнечных лучей, шагая медленно длинными, сухими ногами, тщательно натягивая перчатку на тонкие пальцы правой руки, — маленький, досиня черный гарсон отошел от двери ресторана, где он слушал эту беседу, и сказал рабочему, который рылся в кошельке, доставая медные монеты:

— Сильно стареет наш знаменитый...

— Он еще постоит за себя! — уверенно воскликнул рабочий. — У него много огня под черепом...

— Где будете вы говорить в следующий раз?

— Там же, на бирже труда. Вы слышали меня?

— Трижды, товарищ...

Крепко пожав друг другу руки, они с улыбкой расстались; один пошел в сторону, противоположную той, куда скрылся инженер, другой — задумчиво напевая, стал убирать посуду со столов.

Группа школьников в белых передниках — мальчики и девочки — маршируют посередине дороги, от них искрами разлетается шум и смех, передние двое громко трубят в трубы, свернутые из бумаги, акации тихо осыпают их снегом белых лепестков. Всегда — а весной особенно жадно — смотришь на детей и хочется кричать вслед им, весело и громко:

— Эй, вы, люди! Да здравствует ваше будущее!

XVIII

Если жизнь стала такова, что человек уже не находит куска хлеба на земле, удобренной костями его предков, — не находит и, гонимый нуждою, уезжает скрепя сердце на юг Америки, за тридцать дней пути от родины своей, — если жизнь такова, что вы хотите от человека?

Кто бы он ни был — всё равно! Он — как дитя, оторванное от груди матери, вино чужбины горько ему и не радует сердца, но отравляет его тоскою, делает рыхлым, как губка, и, точно губка воду, это сердце, вырванное из груди родины, — жадно поглощает всякое зло, родит темные чувства.

У нас, в Калабрии, молодые люди перед тем, как уехать за океан, женятся, — может быть, для того, чтоб любовью к женщине еще более углубить любовь к родине, — ведь женщина так же влечет к себе, как родина, и ничто не охраняет человека на чужбине лучше, чем любовь, зовущая его назад, на лоно своей земли, на грудь возлюбленной.

Но эти свадьбы обреченных нуждою на изгнание почти всегда бывают прологами к страшным драмам рока, мести и крови, и — вот что случилось недавно в Сенеркии, коммуне, лежащей у отрогов Апеннин.

Эту историю, простую и страшную, точно она взята со страниц Библии, надобно начать издали, за пять лет до наших дней и до ее конца: пять лет тому назад в горах, в маленькой деревне Сарачена жила красавица Эмилия Бракко, муж ее уехал в Америку, и она находилась в доме свекра. Здоровая, ловкая работница, она обладала прекрасным голосом и веселым характером любила смеяться, шутить и, немножко кокетничая своей красотой, сильно возбуждала горячие желания деревенских парней и лесников с гор.

Играя словами, она умела беречь свою честь замужней женщины, ее смех будил много сладких мечтаний, но никто не мог похвалиться победою над ней.

Вы знаете, что больше всех в мире страдают завистью дьявол и старуха: около Эмилии была свекровь, а дьявол всегда там, где можно сделать зло.

— Ты слишком весела без мужа, моя милая, — говорила старуха, — я, пожалуй, напишу ему об этом. Смотри, я слежу за каждым шагом твоим, помни, — твоя честь — наша честь.

Сначала Эмилия миролюбиво убеждала свекровь, что она любит ее сына, ей не в чем упрекнуть себя. А та всё чаще и сильнее оскорбляла ее подозрениями и, возбуждаемая дьяволом, принялась болтать направо и налево о том, что невестка потеряла стыд.

Услышав это, Эмилия испугалась и стала умолять ведьму, чтоб она не губила ее своими рассказами, клялась, что она ни в чем не виновна пред мужем, даже в мечтах не испытывает искушения изменить ему, а старуха — не верила ей.

— Знаю я, — говорила она, — ведь я тоже была молода, знаю я цену этим клятвам! Нет, я уж написала сыну, чтоб он возвращался скорее отомстить за свою честь!

— Ты написала? — тихо спросила Эмилия.

— Да.

— Хорошо...

Наши мужчины ревнивы, как арабы, — Эмилия понимала, чем грозит ей возвращение мужа.

На другой день свекровь пошла в лес собирать сухие сучья, а Эмилия за нею, спрятав под юбкой топор. Красавица сама пришла к карабинерам сказать, что свекровь убита ею.

— Лучше быть убийцей, чем слыть за бесстыдную, когда честна, — сказала она.

Суд над нею был триумфом ее: почти все население Сенеркии пошло в свидетели за нее, и многие со слезами говорили судьям:

— Она невинна, она погублена напрасно!

Только один преподобный архиепископ Коцци решился поднять голос против несчастной: он не хотел верить в ее чистоту, говорил о необходимости поддерживать в народе старинные традиции, предупреждал людей, чтобы они не впадали в ошибку, допущенную греками, которые оправдали Фрину, увлеченные красотой женщины дурного поведения, говорил все, что обязан был сказать, и, может быть, благодаря ему Эмилию присудили к четырем годам простого заключения в тюрьме.

Так же, как и муж Эмилии, ее односельчанин Донато Гварначья жил за океаном, оставив на родине молодую жену заниматься

невеселою работой Пенелопы — плести мечты о жизни и не жить.

И вот, три года тому назад, Донато получил письмо от своей матери; мать извещала, что его жена, Тереза, отдалась его отцу — ее мужу — и живет с ним. Вы видите: опять старуха и дьявол — вместе!

Гварначья-сын взял билет на первый же пароход в Неаполь и — точно с облака упал — явился домой.

Жена и отец притворились удивленными, а он, суровый и недоверчивый молодец, первое время держал себя спокойно, желая убедиться в справедливости доноса, — он слышал историю Эмилии Бракко; он хорошо приласкал жену, и некоторое время оба они как бы снова переживали медовый месяц любви, жаркий пир молодости.

Мать попыталась налить ему в уши яду, но он остановил ее:

— Довольно! Я хочу сам убедиться в правде твоих слов, не мешай мне.

Он знал, что оскорбленному нельзя верить, пусть это даже родная мать.

Почти половина лета прошла тихо и мирно, может быть, так прошла бы и вся жизнь, но во время кратких отлучек сына из дому его отец снова начал приставать к снохе; она противилась назойливости распущенного старика, и это разозлило его — слишком внезапно было прервано его наслаждение молодым телом, и вот он решил отомстить женщине.

— Ты погибнешь, — пригрозил он ей.

— Ты — тоже, — ответила она.

У нас говорят мало.

Через день отец сказал сыну:

— А знаешь ли ты, что твоя жена была неверна тебе?

Тот, бледный, глядя прямо в глаза ему, спросил:

— Есть у вас доказательства?

— Да. Те, кто пользовался ее ласками, говорили мне, что у нее внизу живота большая родинка, — ведь это верно?

— Хорошо, — сказал Донато. — Так как вы, мой отец, говорите мне, что она виновна, — она умрет!

Отец бесстыдно кивнул головою.

— Ну да! Распутных женщин надо убивать.

— И мужчин, — сказал Донато, уходя.

Он пошел к жене, положил свои тяжелые руки на плечи ей...

— Слушай, я знаю, ты изменяла мне. Ради любви, которая жила с нами и в нас до и после измены твоей, скажи — с кем?

— Ага! — вскричала она, — ты мог узнать это только от твоего проклятого отца, только он один...

— Он? — спросил крестьянин, и глаза его налились кровью.

— Он взял меня силой, угрозами, но — пусть будет сказана вся правда до конца...

Она задохнулась — муж встряхнул ее.

— Говори!

— Ах, да, да, да, — прошептала женщина в отчаянии, — мы жили, я и он, как муж с женою, раз тридцать, сорок...

Донатто бросился в дом, схватил ружье и побежал в поле, куда ушел отец, там он сказал ему всё, что может сказать мужчина мужчине в такую минуту, и двумя выстрелами покончил с ним, а потом плюнул на труп и разбил прикладом череп его. Говорили, что он долго издевался над мертвым — будто бы вспрыгнул на спину ему и танцевал на ней свой танец мести.

Потом он пошел к жене и сказал ей, заряжая ружье:

— Отойди на четыре шага и читай молитву...

Она заплакала, прося его оставить ей жизнь.

— Нет, — сказал он, — я поступаю так, как требует справедливость и как ты должна бы поступить со мною, если б виновен был я...

Он застрелил ее, точно птицу, а потом пошел отдать себя в руки властей, и когда он проходил улицею деревни, народ расступался пред ним, и многие говорили:

— Ты поступил как честный мужчина, Донато...

На суде он защищался с мрачной энергией, с грубым красноречием примитивной души.

— Я беру женщину, чтоб иметь от ее и моей любви ребенка, в котором должны жить мы оба, она и я! Когда любишь — нет отца, нет матери, есть только любовь, — да живет она вечно! А те, кто грязнит ее, женщины и мужчины, да будут прокляты проклятием бесплодия, болезней страшных и мучительной смерти...

Защита требовала от присяжных, чтобы они признали убийство в запальчивости и раздражении, но присяжные оправдали Донато,

под бурные рукоплескания публики, — и Донато воротился в Сенеркию в ореоле героя, его приветствовали как человека, строго следовавшего старым народным традициям кровавой мести за оскорбленную честь.

Немного позднее оправдания Донато была освобождена из тюрьмы и его землячка Эмилия Бракко; в ту пору стояло грустное зимнее время, приближался праздник Рождества Младенца, в эти дни у людей особенно сильно желание быть среди своих, под теплым кровом родного дома, а Эмилия и Донато — одиноки, ведь их слава не была той славою, которая вызывает уважение людей, — убийца все-таки убийца, он может удивить, но и только, его можно оправдать, но как полюбить? У обоих руки в крови и разбиты сердца, оба пережили тяжелую драму суда над ними — никому в Сенеркии не показалось странным, что эти люди, отмеченные роком, подружились и решили украсить друг другу изломанную жизнь; оба они были молоды, им хотелось ласки.

— Что нам делать здесь, среди печальных воспоминаний о прошлом? — говорил Донато Эмилии после первых поцелуев.

— Если вернется мой муж, он убьет меня, ибо теперь ведь я действительно в мыслях изменила ему, — говорила Эмилия.

Они решили уехать за океан, как только накопят достаточно денег на дорогу, и, может быть, им удалось бы найти в мире немножко счастья и тихий угол для себя, но вокруг них нашлись люди, которые думали так:

«Мы можем простить убийство по страсти, мы рукоплескали преступлению в защиту чести, но — разве теперь эти люди не идут против тех традиций, в защиту которых они пролили столько крови?»

Эти строгие и мрачные суждения, отголоски суровой древности, раздавались все громче и наконец дошли до ушей матери Эмилии — Серафины Амато, женщины гордой, сильной и, несмотря на свои пятьдесят лет, до сего дня сохранившей красоту уроженки гор.

Сначала она не поверила слухам, оскорбившим ее.

— Это — клевета, — сказала она людям, — вы забыли, как моя дочь страдала за охрану своей чести!

— Нет, не мы, а она забыла это, — ответили люди.

Тогда Серафина, жившая в другой деревне, пришла к дочери и

сказала ей:

— Я не хочу, чтобы про тебя говорили так, как начали говорить. То, что ты сделала в прошлом, — чистое и честное дело, несмотря на кровь, таким оно и должно остаться в поучение людям!

Дочь заплакала, говоря:

— Весь мир для людей, но для чего же люди, если они не сами для себя?..

— Спроси об этом священника, если так глупа, что не знаешь этого, — ответила ей мать.

Потом пришла к Донато и тоже, со всей энергией, предупредила его:

— Оставь мою дочь в покое, а то худо будет тебе!

— Послушай, — стал умолять ее молодой человек, — ведь я навсегда полюбил эту женщину, несчастную столько же, как я сам! Позволь мне увезти ее под другое небо, и все будет хорошо!

Он только подлил масла в огонь этими словами.

— Вы хотите бежать? — с яростью и отчаянием вскричала Серафина. — Нет, этого не будет!

Они расстались, рыча, как звери, и глядя друг на друга огненными глазами непримиримых врагов.

С этого дня Серафина стала следить за влюбленными, как умная собака за дичью, что, однако, не мешало им видеться украдкой, ночами — ведь любовь хитра и ловка тоже, как зверь.

Но однажды Серафине удалось подслушать, как ее дочь и Гварначья обсуждали план своего бегства, — в эту злую минуту она решилась на страшное дело.

В воскресенье народ собрался в церковь слушать мессу; впереди стояли женщины в ярких праздничных юбках и платках, сзади них, на коленях, мужчины; пришли и влюбленные помолиться мадонне о своей судьбе.

Серафина Амато явилась в церковь позднее всех, тоже одетая по-праздничному, в широком, вышитом цветными шерстями переднике поверх юбки, а под передником — топор.

Медленно, с молитвою на устах, она подошла к изображению архангела Михаила, патрона Сенеркии, преклонила колена пред ним, коснулась рукою его руки, а потом своих губ и, незаметно пробравшись к соблазнителю дочери, стоявшему на коленях,

дважды ударила его по голове, вырубив на ней римское пять или букву V, что значит — вендетта, месть.

Вихрь ужаса охватил людей, с криком и воплями все бросились к выходу, многие упали без чувств на кафли пола, многие плакали, как дети, а Серафина стояла с топором в руке над беднягой Донато и бесчувственной дочерью своей, как Немезида деревни, богиня правосудия людей с прямою душой.

Так стояла она много минут, а когда люди, придя в себя, схватили ее, она стала громко молиться, подняв к небу глаза, пылающие дикой радостью:

— Святой Михаил — благодарю тебя! Это ты дал мне нужную силу, чтоб отомстить за поруганную честь женщины, моей дочери!

Когда же она узнала, что Гварначья жив и его отнесли на стуле в аптеку, чтобы перевязать страшные раны, ее охватил трепет, и, вращая безумными, полными страха глазами, она сказала:

— Нет, нет, я верю в бога, он умрет, этот человек! Ведь я нанесла очень тяжкие раны, это чувствовали руки мои, и — бог справедлив — этот человек должен умереть!..

Скоро эту женщину будут судить и, конечно, осудят тяжко, но — чему может научить удар того человека, который сам себя считает в праве наносить удары и раны? Ведь железо не становится мягче, когда его куют.

Суд людей говорит человеку:

— Ты — виновен!

Человек отвечает «да» или «нет», и все остается так, как было раньше.

А в конце концов, дорогие синьоры, надо сказать, что человек должен расти, плодиться там, где его посеял господь, где его любит земля и женщина...

XIX

Старик Джиованни Туба еще в ранней молодости изменил земле ради моря — эта синяя гладь, то ласковая и тихая, точно взгляд девушки, то бурная, как сердце женщины, охваченное страстью, эта пустыня, поглощающая солнце, ненужное рыбам, ничего не родя от совокупления с живым золотом лучей, кроме красоты и ослепительного блеска, — коварное море, вечно поющее о чем-то, возбуждая необоримое желание плыть в его даль, — многих оно отнимает у каменистой и немой земли, которая требует так много влаги у небес, так жадно хочет плодотворного труда людей и мало дает радости — мало!

Еще мальчишкой Туба, работая на винограднике, брошенном уступами по склону горы, укрепленном стенками серого камня, среди лапчатых фигов и олив, с их выкованными листьями, в темной зелени апельсинов и запутанных ветвях гранат, на ярком солнце, на горячей земле, в запахе цветов, — еще тогда он смотрел, раздувая ноздри, в синее око моря взглядом человека, под ногами которого земля не тверда — качается, тает и плывет, — смотрел, вдыхая соленый воздух, и пьянел, становясь рассеянным, ленивым, непослушным, как всегда бывает с тем, кого море очаровало и зовет, с тем, кто влюбился душою в море...

А по праздникам, рано, когда солнце едва поднималось из-за гор над Сорренто, а небо было розовое, точно соткано из цветов абрикоса, — Туба, лохматый, как овчарка, катился под гору, с удочками на плече, прыгая с камня на камень, точно ком упругих мускулов совсем без костей, — бежал к морю, улыбаясь ему широким, рыжим от веснушек лицом, а встречу, в свежем воздухе утра, заглушая сладкое дыхание проснувшихся цветов, плыл острый аромат, тихий говор волн, — они цеплялись о камни там, внизу, и манили к себе, точно девушки, — волны...

Вот он висит на краю розовато-серой скалы, спустив бронзовые ноги; черные, большие, как сливы, глаза его утонули в прозрачной зеленоватой воде; сквозь ее жидкое стекло они видят удивительный мир, лучший, чем все сказки: видят золотисто-рыжие водоросли на дне морском, среди камней, покрытых коврами; из леса водорослей

выплывают разноцветные «виолы» — живые цветы моря, — точно пьяный, выходит «перкия», с тупыми глазами, разрисованным носом и голубым пятном на животе, мелькает золотая «сарпа», полосатые дерзкие «каньи»; снуют, как веселые черти, черные «гваррачины»; как серебряные блюда, блестят «спаральони», «окьяты» и другие красавицы-рыбы — им нет числа! — все они хитрые и, прежде чем схватить червяка на крючке глубоко в круглый рот, ловко ошипывают его маленькими зубами, — умные рыбы!..

Точно птицы в воздухе, плавают в этой светлой ласковой воде усатые креветки, ползают по камню раки-отшельники, таская за собой свой узорный дом-раковину; тихо двигаются алые, точно кровь, звезды, безмолвно качаются колокола лиловых медуз, иногда из-под камня высунется злая голова мурены с острыми зубами, изовьется пестрое змеиное тело, все в красивых пятнах, она точно ведьма в сказке, но еще страшней и безобразнее ее; вдруг распластается в воде, точно грязная тряпка, серый осьминог и стремительно бросится куда-то хищной птицей; а вот, не торопясь, двигается лангуст, шевеля длиннейшими, как бамбуковые удилица, усами, и еще множество разных чудес живет в прозрачной воде, под небом, таким же ясным, но более пустынным, чем море.

А море — дышит, мерно поднимается голубая его грудь; на скалу, к ногам Туба, всплескивают волны, зеленые в белом, играют, бьются о камень, звенят, им хочется подпрыгнуть до ног парня, — иногда это удается, вот он, вздрогнув, улыбнулся — волны рады, смеются, бегут назад от камней, будто бы испугались, и снова бросаются на скалу; солнечный луч уходит глубоко в воду, образуя воронку яркого света, ласково пронзая груди волн, — спит сладким сном душа, не думая ни о чем, ничего не желая понять, молча и радостно насыщаясь тем, что видит, в ней тоже ходят неслышно светлые волны, и, всеобъемлющая, она безгранично свободна, как море.

Так проводил он праздники, потом это стало звать его и в будни — ведь когда человека схватит за сердце море, он сам становится частью его, как сердце — только часть живого человека, и вот, бросив землю на руки брата, Туба ушел с компанией таких же, как сам он, влюбленных в простор, — к берегам Сицилии ловить

кораллы: трудная, а славная работа, можно утонуть десять раз в день, но зато — сколько видишь удивительного, когда из синих вод тяжело поднимается сеть — полукруг с железными зубцами на краю, и в ней — точно мысли в черепае — движется живое, разнообразных форм и цветов, а среди него — розовые ветви драгоценных кораллов — подарок моря.

Так и заснул навсегда для земли человек, плененный морем; он и женщин любил, точно сквозь сон, недолго и молча, умея говорить с ними лишь о том, что знал, — о рыбе и кораллах, об игре волн, капризах ветра и больших кораблях, которые уходят в неведомые моря; был он кроток на земле, ходил по ней осторожно, недоверчиво и молчал с людьми, как рыба, поглядывая во все глаза зорким взглядом человека, привыкшего смотреть в изменчивые глубины и не верить им, а в море он становился тихо весел, внимателен к товарищам и ловок, точно дельфин.

Но как бы хорошо человек ни выбрал жизнь для себя — ее хватает лишь на несколько десятков лет, — когда просоленному морской водою Туба минуло восемьдесят — его руки, изувеченные ревматизмом, отказались работать — достаточно! — искривленные ноги едва держали согнутый стан, и, овеянный всеми ветрами старик, он с грустью вышел на остров, поднялся на гору, в хижину брата, к детям его и внукам, — это были люди слишком бедные для того, чтоб быть добрыми, и теперь старый Туба не мог — как делал раньше — приносить им много вкусных рыб.

Старику стало тяжело среди этих людей, они слишком внимательно смотрели за кусками хлеба, которые он совал кривою, темной лапой в свой беззубый рот; вскоре он понял, что лишний среди них; потемнела у него душа, сердце сжалось печалью, еще глубже легли морщины на коже, высушенной солнцем, и заняли кости незнакомою болью; целые дни, с утра до вечера, он сидел на камнях у двери хижины, старыми глазами глядя на светлое море, где растаяла его жизнь, на это синее, в блеске солнца, море, прекрасное, как сон.

Далеко оно было от него, и трудно старику достичь берега, но он решился, и однажды, тихим вечером, пополз с горы, как раздавленная ящерица по острым камням, и когда достиг волн — они встретили его знакомым говором, более ласковым, чем голоса

людей, звонким плеском о мертвые камни земли; тогда — как после догадывались люди — встал на колени старик, посмотрел в небо и в даль, помолился немного и молча за всех людей, одинаково чужих ему, снял с костей своих лохмотья, положил на камни эту старую шкуру свою и все-таки чужую, — вошел в воду, встряхивая седой головой, лег на спину и, глядя в небо, — поплыл в даль, где темно-синяя завеса небес касается краем своим черного бархата морских волн, а звезды так близки морю, что, кажется, их можно достать рукой.

Тихими ночами лета море спокойно, как душа ребенка, утомленного играми дня, дремлет оно, чуть вздыхая, и, должно быть, видит какие-то яркие сны, если плыть ночью по его густой и теплой воде, синие искры горят под руками, синее пламя разливается вокруг, и душа человека тихо тает в этом огне, ласковом, точно сказка матери.

XX

В священной тишине восходит солнце, и от камней острова поднимается в небо сизый туман, насыщенный сладким запахом золотых цветов дрока.

Остров, среди темной равнины сонных вод, под бледным куполом неба, подобен жертвеннику пред лицом бога-солнца.

Только что погасли звезды, но еще блестит белая Венера, одиноко утопая в холодной высоте мутного неба, над прозрачною грядю перистых облаков; облака чуть окрашены в розоватые краски и тихо сгорают в огне первого луча, а на спокойном лоне моря их отражения, точно перламутр, всплывший из синей глубины вод.

Выпрямляются встречу солнцу стебли трав и лепестки цветов, отягченные серебром росы, ее светлые капли висят на концах стеблей, полнеют и, срываясь, падают на землю, вспотевшую в жарком сне. Хочется слышать тихий звон их падения, — грустно, что не слышишь его.

Проснулись птицы, перепархивают в листве олив, поют, а снизу вздымаются в гору густые вздохи моря, пробужденного солнцем.

А все-таки — тихо, люди еще спят. В свежести утра запах цветов и трав яснее, чем звуки.

Из двери белого домика, захлестнутого виноградниками, точно лодка зелеными волнами моря, выходит навстречу солнцу древний старец Этторе Чекко, одинокий человечек, нелюдим, с длинными руками обезьяны, с голым черепом мудреца, с лицом, так измятым временем, что в его дряблых морщинах почти не видно глаз.

Медленно приподняв ко лбу черную, волосатую руку, он долго смотрит в розовеющее небо, потом — вокруг себя, — пред ним, по серовато-лиловому камню острова, переливается широкая гамма изумрудного и золотого, горят розовые, желтые и красные цветы; темное лицо старика дрожит в добродушной усмешке, он утвердительно кивает круглой тяжелой головой.

Он стоит, точно поддерживая тяжесть, чуть согнув спину, широко расставив ноги, а вокруг него все веселей играет юный день, ярче блестит зелень виноградников, громче щебечут вьюрки и

чижи, в зарослях ежевики, ломоноса, в кустах молочая бьют перепела, где-то свистит черный дрозд, щеголеватый и беззаботный, как неаполитанец.

Старый Чекко поднимает длинные усталые руки над головою, потягивается, точно собираясь лететь вниз, к морю, спокойному, как вино в чаше.

А расправив старые кости, он опустился на камень у двери, вынул из кармана куртки открытое письмо, отвел руку с ним подальше от глаз, прищурился и смотрит, беззвучно шевеля губами. На большом, давно не бритом и точно посеребренном лице его — новая улыбка: в ней странно соединены любовь, печаль и гордость.

Пред ним на куске картона изображены синей краской двое широкоплечих парней, они сидят плечо с плечом и весело улыбаются, кудрявые, большеголовые, как сам старик Чекко, а над головами их крупно и четко напечатано:

«Артуро и Энрико Чекко — два благородных борца за интересы своего класса. Они организовали 25000 текстильных рабочих, заработок которых составлял 6 долларов в неделю, и за это они посажены в тюрьму.

Да здравствуют борцы за социальную справедливость!»

Старик Чекко неграмотен, и надпись сделана на чужом языке, но он знает, что написано именно так, каждое слово знакомо ему и кричит, поет, как медная труба.

Эта синяя открытка принесла старику много тревоги и хлопот: он получил ее месяца два тому назад и тотчас же, инстинктом отца, почувствовал, что дело неладно: ведь портреты бедных людей печатаются лишь тогда, когда эти люди нарушают законы.

Чекко спрятал в карман этот кусок бумаги, но он лег ему на сердце камнем и с каждым днем все становился тяжелей. Не однажды он хотел показать письмо священнику, но долгий опыт жизни убедил его, что люди справедливо говорят: «Может быть, поп и говорит богу правду про людей, но людям правду — никогда».

Первый, у кого он спросил о таинственном значении открытки, был рыжий художник, иностранец — длинный и худой парень, который очень часто приходил к дому Чекко и, удобно поставив мольберт, ложился спать около него, пряча голову в квадратную тень начатой картины.

— Синьор, — спросил он художника, — что сделали эти люди?
Художник посмотрел на веселые рожи детей старика и сказал:

— Должно быть, что-то смешное...

— А что напечатано про них?

— Это — по-английски. Кроме англичан, их язык понимает только бог да еще моя жена, если она говорит правду в этом случае. Во всех других случаях она не говорит правды...

Художник был болтлив, как чиж, он, видимо, ни о чем не мог говорить серьезно. Старик угрюмо отошел прочь от него, а на другой день явился к жене художника, толстой синьоре, — он застал ее в саду, где она, одетая в широкое и прозрачное белое платье, таяла от жары, лежа в гамаке и сердито глядя синими глазами в синее небо.

— Эти люди посажены в тюрьму, — сказала она ломаным языком.

У него дрогнули ноги, как будто весь остров пошатнулся от удара, но он все-таки нашел силы спросить:

— Украли или убили?

— О нет. Просто они — социалисты.

— Что такое — социалисты?

— Это — политика, — сказала синьора голосом умирающей и закрыла глаза.

Чекко знал, что иностранцы — самые бестолковые люди, они глупее калабрийцев, но ему хотелось знать правду о детях, и он долго стоял около синьоры, ожидая, когда она откроет свои большие ленивые глаза. А когда наконец это случилось, он — спросил, ткнув пальцем в карточку:

— Это — честно?

— Я не знаю, — ответила она с досадой. — Я сказала — это политика, понимаешь?

Нет, он не понимал: политику делают в Риме министры и богатые люди для того, чтобы увеличить налоги на бедных людей. А его дети — рабочие, они живут в Америке и были славными парнями — зачем им делать политику?

Всю ночь он просидел с портретом детей в руках, — при луне он казался черным и возбуждал еще более мрачные мысли. Утром решил спросить священника, — черный человек в сутане кратко и

строго сказал:

— Социалисты — это люди, которые отрицают волю бога, — достаточно, если ты будешь знать это.

И добавил еще строже вслед старику:

— Стыдно в твои годы интересоваться такими вещами!..

«Хорошо, что я не показал ему портрета», — подумал Чекко.

Прошло еще дня три, он пошел к парикмахеру, щеголю и вертопраху. Про этого парня, здорового, как молодой осел, говорили, что он за деньги любит старых американок, которые приезжают будто бы наслаждаться красотой моря, а на самом деле ищут приключений с бедными парнями.

— Боже! — воскликнул этот дурной человек, прочитав надпись, и щеки его радостно вспыхнули. — Это Артуро и Энрико, мои товарищи! О, я от души поздравляю вас, отец Этторе, вас и себя! Вот у меня и еще двое знаменитых земляков — можно ли не гордиться этим?

— Не болтай лишнего, — предупредил его старик.

Но тот кричал, размахивая руками:

— Это хорошо!

— Что напечатано про них?

— Я не могу прочитать, но я уверен, что напечатали правду. Бедняки должны быть великими героями для того, чтобы о них сказали правду наконец!

— Молчи, прошу тебя, — сказал Чекко и ушел, яростно стуча деревянными башмаками по камням.

Он пошел к русскому синьору, о котором говорили, что это добрый и честный человек. Пришел, сел у койки, на которой тот медленно умирал, и спросил его:

— Что сказано об этих людях?

Прищурив глаза, обесцвеченные болезнью и печальные, русский слабым голосом прочитал надпись на открытке и хорошо улыбнулся старику, а тот сказал ему:

— Синьор, вы видите — я очень стар и уже скоро пойду к моему богу. Когда мадонна спросит меня — что я сделал с моими детьми, я должен буду рассказать ей это правдиво и подробно. Это мои дети здесь на карточке, но я не понимаю, что они сделали и почему в тюрьме?

Тогда русский очень серьезно и просто посоветовал ему:

— Скажите мадонне, что ваши дети хорошо поняли главную заповедь ее сына: они любят ближних живой любовью...

Ложь нельзя сказать просто: она требует громких слов и многих украшений, — старик поверил русскому и крепко пожал его маленькую и не знавшую труда руку.

— Значит, это не позорно для них — тюрьма?

— Нет, — сказал русский. — Ведь вы знаете, что богатых сажают в тюрьму лишь тогда, если они сделают слишком много зла и не сумеют скрыть это, бедные же попадают в тюрьмы, чуть только они захотят немножко добра. Вы счастливый отец, вот что я вам скажу!

И слабеньким своим голосом он долго говорил Чекко о том, что затеяно в жизни ее честными людьми, о том, как они хотят победить нищету, глупость и все то, страшное и злое, что рождается глупостью и нищетой...

Солнце горит в небе, как огненный цветок, и сеет золотую пыль своих лучей на серые груди скал, а из каждой морщины камня, встречу солнцу, жадно тянется живое — изумрудные травы, голубые, как небо, цветы. Золотые искры солнечного света вспыхивают и гаснут в полных каплях хрустальной росы.

Старик следит, как все вокруг него дышит светом, поглощая его живую силу, как хлопочут птицы и, строя гнезда, поют; он думает о своих детях: парни за океаном, в тюрьме большого города, — это плохо для их здоровья, плоховато, да...

Но — они в тюрьме за то, что выросли честными ребятами, каким был всю жизнь их отец, — это хорошо для них и для его души.

И бронзовое лицо старика точно тает в гордой улыбке.

— Земля — богата, люди — бедны, солнце — доброе, человек — зол. Всю жизнь я думал об этом, и хотя не говорил им, а они поняли думы отца. Шесть долларов в неделю — это сорок лир, ого! Но они нашли, что этого мало, и двадцать пять тысяч таких же, как они, согласились с ними — этого мало для человека, который хочет хорошо жить...

Он уверен, что в его детях развились и выросли скрытые мысли его сердца, он очень гордится этим, но, зная, как мало люди верят сказкам, которые создают сами же они каждый день, он молчит.

Лишь иногда старое емкое сердце переполняется думами о

будущем детей, и тогда старый Чекко, выпрямив натруженную спину, выгибает грудь и, собрав последние силы, хрипло кричит в море, в даль, туда, к детям:

— Вальо-о!..[\[9\]](#)

И солнце смеется, восходя все выше над густой и мягкой водою моря, а люди с виноградников отвечают старику:

— Ой-и!..

XXI

Скоро полночь.

В синем небе над маленькой площадью Капри низко плывут облака, мелькают светлые узоры звезд, вспыхивает и гаснет голубой Сириус, а из дверей церкви густо льется важное пение органа, и все это: бег облаков, трепет звезд, движение теней по стенам зданий и камню площади — тоже как тихая музыка.

Под ее торжественный ритм вся площадь, похожая на оперную декорацию, колеблется, становясь то тесной и темной, то — просторной и призрачно светлой.

Над Монте-Соляро раскинулось великолепное созвездие Ориона, вершина горы пышно увенчана белым облаком, а обрыв ее, отвесный, как стена, изрезанный трещинами, — точно чье-то темное, древнее лицо, измученное великими думами о мире и людях.

Там, на высоте шестисот метров, накрыт облаком заброшенный маленький монастырь и — кладбище, тоже маленькое, могилы на нем подобны цветочным грядам, их немного, и в них, под цветами, — все монахи этого монастыря. Иногда его серые стены выглядывают из облака, точно прислушиваясь к тому, что творится внизу.

По площади шумно бегают дети, разбрасывая шутихи; по камням, с треском рассыпая красные искры, прыгают огненные змеи, иногда смелая рука бросает зажженную шутиху высоко вверх, она шипит и мечется в воздухе, как испуганная летучая мышь, ловкие темные фигурки бегут во все стороны со смехом и криками — раздается гулкий взрыв, на секунду освещая ребятишек, прижавшихся в углах, — десятки бойких глаз весело вспыхивают во тьме.

Взрывы раздаются почти непрерывно, заглушая хохот, возгласы испуга и четкий стук деревянных башмаков по гулкой лаве; вздрагивают тени, взмывая вверх, на облаках пылают красные отражения, а старые стены домов точно улыбаются — они помнят стариков детьми и не одну сотню раз видели это шумное и немножко опасное веселье детей в ночь на Рождество Христа.

Но чуть только выделится секунда тишины — снова слышен серьезный, молитвенный гул органа, а снизу ему отвечает море глухими ударами волн о прибрежные камни и шелковым шорохом гальки.

Залив — точно чаша, полная темным пенным вином, а по краям ее сверкает живая нить самоцветных камней, это огни городов — золотое ожерелье залива.

Над Неаполем — опаловое зарево, оно колышется, точно северное сияние, десятки ракет и фугасов врываются в него, расцветают букетами ярких огней и, на миг остановясь в трепетном облаке света, гаснут, — доносится тяжкий гул.

По всему полукругу залива идет неустанно красивая беседа огня: холодно горит белый маяк неаполитанского порта и сверкает красное око Капо ди Мизена, а огни на Прочиде и у подножия Иския — как ряды крупных бриллиантов, нашитые на мягкий бархат тьмы.

По заливу ходят стада белых волн, сквозь их певучий плеск издали доносятся смягченные вздохи взрывов ракет; все еще гудит орган и смеются дети, но — вот неожиданно и торжественно колокол башенных часов бьет четыре и двенадцать раз.

Кончилась месса, из дверей церкви на широкие ступени лестницы пестрой лавою течет толпа — встречу ей, извиваясь, прыгают красные змеи. Пугливо вскрикивают женщины, радостно хохочут мальчишки — это их праздник, и никто не смеет запретить им играть красивым огнем.

Немножко испугать солидного, празднично одетого взрослого человека, заставить его, деспота, попрыгать по площади от шутихи, которая гонится за ним, шипя и обрызгивая искрами сапоги его, — это такое высокое удовольствие! И его испытываешь только один раз в год...

Чувствуя себя в ночь рождения Младенца, любившего их, королями и хозяевами жизни, — дети не скупятся воздать взрослым за год их скучной власти минутами своего веселого могущества: взрослые дяденьки тяжело подпрыгивают, увертываясь от огня, и добродушно просят о пощаде:

— Баста! Эй, разбойники, — баста!

Спешно идут дзампоньяры — пастухи из Абруццы, горцы, в синих, коротких плащах и широких шляпах. Их стройные ноги, в

чулках из белой шерсти, опутаны крест-накрест темными ремнями, у двоих под плащами волынки, четверо держат в руках деревянные, высокого тона рожки.

Эти люди являются на остров ежегодно и целый месяц живут здесь, каждый день славословя Христа и богоматерь своей странной, красивой музыкой.

Трогательно видеть их на рассвете, когда они, бросив шляпы к ногам своим, стоят перед статуей мадонны, вдохновенно глядя в доброе лицо Матери и играя в честь ее невыразимо волнующую мелодию, которая однажды метко названа была «физическим ощущением бога».

Теперь пастухи идут к яслям Младенца, он лежит в доме старика столяра Паолино, и его надобно перенести в церковь св. Терезы.

Дети бросаются вслед за ними, узкая улица проглатывает их темные фигурки, и несколько минут — площадь почти пуста, только около храма на лестнице тесно стоит толпа людей, ожидая процессию, да тени облаков тепло и безмолвно скользят по стенам зданий и по головам людей, словно лаская их.

Вздыхает море. Во тьме, над перешейком острова, рисуется пиния, как огромная ваза на тонкой ножке. Ослепительно сверкает Сириус, туча с Монте-Соляро сползла, ясно виден сиротливый маленький монастырь над обрывом горы и одинокое дерево перед ним, как на страже.

Из арки улицы, как из трубы, светлыми ручьями радостно льются песни пастухов; без шляп, горбоносые и в своих плащах похожие на огромных птиц, они идут играя, окруженные толпою детей с фонарями на высоких древках, десятки огней качаются в воздухе, освещая маленькую круглую фигурку старика Паолино, его серебряную голову, ясли в его руках и в яслях, полных цветами, — розовое тело Младенца, с улыбкою поднявшего вверх благословляющие ручки.

Старик смотрит на эту куколку из терракоты с таким умилением, как будто она для него — живая, дышит и обещает с восходом солнца утвердить «на земле мир и в человецех благоволение».

Со всех сторон к яслям наклоняются седые обнаженные головы, суровые лица, всюду блестят ласковые глаза. Вспыхнули бенгальские огни, все темное исчезло с площади — как будто

неожиданно наступил рассвет. Дети поют, кричат, смеются, на лицах взрослых — милые улыбки, можно думать, что они тоже хотели бы прыгать и шуметь, но — боятся потерять в глазах детей свое значение людей серьезных.

Над толпою золотыми мотыльками трепещут желтые огни свеч, выше, в темно-синем небе разноцветно горят звезды; из другой улицы выливается еще процессия — это девочки со статуей мадонны, и — еще музыка, огни, веселые крики, детский смех, — всей душою чувствуешь рождение праздника.

Младенца несут в старую церковку, в ней — по ветхости ее — давно не служат, и целый год она стоит пустая, но сегодня ее древние стены украшены цветами, листьями пальм, золотом лимонов, мандарин, и вся она занята искусно сделанной картиной рождества Христова.

Из больших кусков пробки построены горы, пещеры, Вифлеем и причудливые замки на вершинах гор; змеею вьется дорога по склонам; на полянах — стада овец и коз; сверкают водопады из стекла; группы пастухов смотрят в небо, где пылает золотая звезда, летят ангелы, указывая одной рукой на путеводную звезду, а другой — в пещеру, где приютились богоматерь, Иосиф и лежит Младенец, подняв руки в небеса. Идет пестрый, нарядный караван волхвов и царей, над ним, на серебряных нитях, качаются ангелы с ветвями пальм и розами в руках. Длиннобородые маги на верблюдах, одетые в яркие шелка, белокурые короли, верхом на лошадях, в роскошных локонах и в парче, кудрявые нумидийцы, арабы и евреи и еще какие-то яркие, фантастически одетые фигурки из терракоты — их сотни в этой картине.

А вокруг яслей — арабы в белых бурнусах уже успели открыть лавочки и продают оружие, шелк, сласти, сделанные из воска, тут же какие-то неизвестной нации люди торгуют вином, женщины, с кувшинами на плечах, идут к источнику за водою, крестьянин ведет осла, нагруженного хворостом, вокруг Младенца — толпа коленопреклоненных людей, и всюду играют дети.

Всё это сделано, одето, раскрашено и размещено умело и искусно, и кажется, что всё живет и шумит.

Дети стоят перед картиной, уже виденной ими в прошлом году, внимательно осматривают ее, и зоркие, памятливые глазенки

тотчас же ловят то новое, что добавлено на этот раз. Делятся открытиями, спорят, смеются, кричат, а в углу стоят те, кто сделал эту красивую вещь, и — не без удовольствия прислушиваются к похвалам юных ценителей.

Конечно, они — взрослые, отцы семейств и слишком серьезны для того, чтобы увлекаться игрушками, они держатся так, как будто все это нимало не касается их, но дети очень часто умнее взрослых и всегда искреннее, они знают, что похвала и старику приятна, и — не скупятся на похвалы мастерам, заставляя их поглаживать усы и бороды, чтобы скрыть улыбки удовлетворения и удовольствия.

Кое-где ребяташки собираются группами, озабоченно совещаясь, составляют «банды»; под Новый год они будут ходить по острову с елкой и звездой большими компаниями, вооружась какими-то старинными инструментами, которые оглушительно гремят, стучат и гукают. Под эти смешные звуки хоры детских голосов запоют веселые языческие песенки — их ежегодно к этому дню создают местные поэты:

*Доброго начала Нового года
Синьору и синьоре!
Выслушайте весело
Эти пожелания ваших маленьких друзей!
Откройте уши и сердца
И кладовую вашу:
Ныне — день радости,
Веселый, божий день!
Родился наш мессия
И голеньким и бедным
Быки его согрели
Дыханием своим.
От всех-то наших горестей
Хотел освободить он нас,
Всю жизнь свою для этого
Он отдал беднякам.
И вот, чтоб помянуть Христа
Достойно его имени,
Давайте проведем сей день*

Как можно веселей!..

И в то время, как одна «банда» детей поет, приплясывая, этот языческий гимн, другая — заглушает ее пение еще более веселой песенкой:

*Вспомните, как пастухи
И цари с волхвами вместе
Опустились на колени
Пред яслями Младенца!*

— Бум, бум, — глухо отбивает такт барабан, а какая-то тонкая дудочка не может поспеть за голосами детей и смешно свистит как-то сбоку их, точно обиженная...

*А король-разбойник Ирод
Жалко струсил пред Младенцем
И велел, злодей, мальчишек
В своем царстве перерезать!
Но давно прошло то время,
Ирод — помер, мы все — живы.
Ныне режут в честь Иисуса
Только кур да каплунов!*

Бойкий темп песни возбуждает и взрослых, вот к толпе детей тяжело подвалился плотный извозчик Карло Бамбола и, надувшись докрасна, орет, заглушая голоса детей:

*Пусть исчезнут все заботы,
Пропадет навеки горе,
Чтоб весь год не знать болезней,
Не открыть нам рта для жалоб!
Видишь, как горит на небе
Лучезарное светило?
Пусть вот так же разгорится
Наша жизнь тепло и ярко!..*

Мечтательно лучатся темные глаза женщин, следя за детьми; все ярче веселье и веселее взгляды; празднично одетые девушки лукаво улыбаются парням; а в небе тают звезды. И откуда-то сверху — с крыши или из окна звонко льется невидимый тенор:

*Будьте веселы, здоровы,
Остальное все — придет!*

В старом храме все живее звенит детский смех лучшая музыка земли. Небо над островом уже бледнеет, близится рассвет, звезды уходят все выше в голубую глубину небес.

В темной зелени садов острова разгораются золотые шары апельсин, желтые лимоны смотрят из сумрака, точно глаза огромных сов. Вершины апельсиновых деревьев освещены молодыми побегами желтовато-зеленой листвы, тускло серебрится лист оливы, колеблются сети голых лоз винограда.

Красно улыбаются встрече заре яркие цветы гвоздики и малиновые метелки шалфея, густой запах нарцисса плывет в свежем воздухе утра, смешиваясь с соленым дыханием моря.

Плеск волн — звучнее, они стали прозрачны, и пена их белеет, точно снег.

XXII

Квартал святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккачио и который не однажды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза, другом Томазо Аниелло — Мазаниелло, как прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб, — Мазаниелло родился тоже в нашем квартале.

Вообще — в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей, в старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней, а ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку подняться выше других, да и душа туго растет, когда ее пеленают газетной бумагой.

До лета прошлого года другою гордостью квартала была Нунча, торговка овощами, — самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла, над ним солнце стоит всегда немножко дольше, чем над другими частями города. Фонтан, конечно, остался донныне таким, как был всегда; все более желтея от времени, он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотой, — мраморные дети не стареют и не устают в играх.

А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца, редко бывает, чтоб человек умер так, и об этом стоит рассказать.

Она была слишком веселой и сердечной женщиной для того, чтоб спокойно жить с мужем; муж ее долго не понимал этого — кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок, но полиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в тюрьме, уехал в Аргентину; перемена воздуха очень помогает сердитым людям.

Нунча в двадцать три года осталась вдовой с пятилетней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой, — веселому человеку немного нужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много; когда же у нее не хватало денег, чтоб заплатить за труд, — она платила смехом, песнями и всем другим, что всегда дороже денег.

Не все женщины были довольны ее жизнью, и мужчины, конечно, не все, но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами, — она говорила:

— Кто разлюбил женщину — значит, он не умеет любить...

Артур Лано, рыбак, который юношей учился в семинарии, готовясь быть священником, но потерял дорогу к сутане и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело, — Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды:

— Ты, кажется, думаешь, что любовь — наука такая же трудная, как богословие?

Она ответила:

— Наук я не знаю, но твои песни — все.

И пропела ему, толстому, как бочка:

Это уж так водится:

Тогда весна была

Сама богородица

Весною зачала.

Он, разумеется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек.

Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех, даже ее подруги примирились с нею, поняв, что характер человека — в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина — не бог, а только богу нельзя изменить...

Лет десять сияла Нунча звездой, всеми признанная первая красавица, лучшая танцорка квартала, и, будь она девушкой, — ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех.

Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине, — это всегда смешило ее до упада.

— На каком языке будет говорить со мною этот сто раз выстиранный синьор?

— На языке золотых монет, дурочка, — убеждали ее солидные люди, но она отвечала:

— Чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров...

Были случаи, когда люди, искренно желавшие ей добра, говорили с нею очень настойчиво:

— Какой-нибудь месяц, Нунча, и — ты богата! Подумай хорошо над этим, вспомни, что у тебя есть дочь...

— Нет, — возражала она, — я люблю мое тело и не могу оскорбить его! Я знаю, — стоит только один раз сделать что-нибудь нехотя, и уже навсегда потеряешь уважение к себе...

— Но — ведь ты не отказываешь другим!

— Своим, и — когда хочу...

— Э, что такое — свои?

Она знала это:

— Люди, среди которых выросла моя душа и которые понимают ее...

Но все-таки у нее была история с одним форестьером из Англии, — очень странный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица — шрам; лицо — разбойника, глаза святого. Одни говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он — игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат, — Нунча не привезла с собою ни денег, ни подарков. И снова стала жить среди своих, — как всегда, веселая, доступная всем радостям.

Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно:

— Смотрите-ка, — Нина становится совсем точно мать!

Это была правда, как майский день: дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездой, такую же яркой, как мать. Ей было только четырнадцать лет, но — очень рослая, пышноволосая, с гордыми глазами — она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной.

Даже сама Нунча удивилась, присмотревшись к ней:

— Святая мадонна! Неужели ты, Нина, хочешь быть красивей меня?

Девушка, улыбаясь, ответила:

— Нет, только такой, как ты, этого и для меня довольно...

И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидели тень грусти, а вечером она сказала подругам:

— Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука...

Разумеется, сначала не заметно было и тени соперничества между матерью и Ниной, — дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и пред мужчинами неохотно открывала рот; а глаза матери горели все жадней, и все призывней звучал ее голос.

Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца, и это верно: для многих Нунча была первым лучом дня любви, многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своею тележкой, стройная, точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены, — ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти, она и умерла в трех шагах от него. Стоит и — точно горит вся, веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи.

Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла: чем прозрачнее стекло — тем лучше оно показывает душу вина, цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтоб дать душе немножко крови солнца. Вино, о господи! Мир со всем его шумом и суетою не стоил бы ослиного копыта, не имей человек сладкой возможности оросить свою бедную душу хорошим стаканом красного вина, которое, подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни... Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце, — вино расскажет вам такие сказки...

Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желание нравиться ей, пред красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего.

Да, а около матери все чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить.

Идет время, все ускоряя свой торопливый, мелкий шаг, золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунча все чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты...

Проходит год, два, — дочь все ближе к матери и — дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей — на ту или эту. А подруги, — друзья и подруги любят укусить там, где чешется, — подруги спрашивают:

— Что, Нунча, гасит тебя дочь?

Женщина, смеясь, отвечала:

— Большие звезды и при луне видны...

Как мать — она гордилась красотой дочери, как женщина — Нунча не могла не завидовать юности; Нина встала между нею и солнцем, — матери обидно было жить в тени.

Лано сочинил новую песенку, в первом куплете ее говорилось:

*Будь я мужчиной, — я тогда
Заставила бы дочь мою
Родить земле красавицу,
Как я в ее года...*

Нунча не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила Нунче:

— Мы могли бы жить лучше, если б ты была более благоразумна.

И настал день, когда дочь сказала матери:

— Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая и хочу взять от жизни свое! Ты жила много и весело, — не пришло ли и для меня время жить?

— В чем дело? — спросила мать, виновато опустив глаза, — знала она, в чем дело.

Воротился из Австралии Энрико Борбоне, он был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легко достает большие

деньги, он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живет свободней. Было ему тридцать шесть лет, бородатый, могучий, веселый, он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах; все принимали эту жизнь за сказку, мать и дочь — за правду.

— Я вижу, что нравлюсь Энрико, — говорила Нина, — а ты с ним играешь, и это, делая его легкомысленным, мешает мне.

— Понимаю, — сказала Нунча. — Хорошо, ты не станешь жаловаться мадонне на твою мать...

И эта женщина честно отошла прочь от человека, который — все видели — был приятен ей больше многих других.

Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя — дело совсем плохо!

Нина стала говорить со своей матерью не так, как заслуживала Нунча; и вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нунча уже великолепно станцевала тарантеллу, дочь заметила ей при всех:

— Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце...

Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду, а Нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока:

— Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо! Но посмотрим, чье сердце сильнее!

И, подумав, предложила:

— Мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно...

Многим показалась смешной эта гонка женщин, были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, но большинство, уважая Нунчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери.

Выбрали судей, назначили предельную скорость бега, — всё, как на скачках, подробно и точно. Было много женщин и мужчин, которые, искренно желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты мадонне, если только она согласится помочь Нунче, даст ей силу.

И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга, вот глухо

ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы, — мать в красном платке на голове, дочь — в голубом.

Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе, — Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка, — люди стали бросать из окон и с тротуаров цветы под ноги ей и рукоплескали, одобряя ее криками; в два конца она опередила дочь на четыре минуты с лишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти, — не могла уже бежать третий раз.

Бодрая, словно кошка, Нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими:

— Дитя, — говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой, — дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви, — сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за тридцать... дитя, не огорчайся!..

И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова пожелала танцевать тарантеллу:

— Кто хочет?

Вышел Энрико, снял шляпу и, низко поклонясь этой славной женщине, долго держал голову почтительно склоненной перед нею.

Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая, точно старое, крепкое, темное вино; завертелась Нунча, извиваясь, как змея, — глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное непобедимое тело.

Плясала она долго, со многими, мужчины уставали, а она всё не могла насытиться, и уже было за полночь, когда она, крикнув:

— Ну, еще раз, Энри, последний! — снова медленно начала танец с ним глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много, — но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленная под колени.

Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца.

Вероятно...

XXIII

Остров спит — окутан строгой тишиной, море тоже спит, точно умерло, кто-то сильною рукой бросил с неба этот черный, странной формы камень в грудь моря и убил в ней жизнь.

Если смотреть на остров из дали морской, оттуда, где золотая дуга Млечного Пути коснулась черной воды, — остров кажется лобастым зверем: выгнув мохнатую спину, он прильнул к морю огромной пастью и молча пьет воду, застывшую, как масло.

В декабре очень часты эти мертвенно тихие черные ночи, до того странно тихие, что неловко и не нужно говорить иначе, как шепотом или вполголоса, все кажется, что громкий звук может помешать чему-то, что тайно зреет в каменном молчании под синим бархатом ночного неба.

Так и говорят — вполголоса — двое людей, сидя в хаосе камня на берегу острова; один — таможенный солдат в черной куртке с желтыми кантами и коротким ружьем за спиной, — он следит, чтоб крестьяне и рыбаки не собирали соль, отложившуюся в щелях камней; другой — старый рыбак, обритый, точно испанец, темнолицый, в серебряных баках от ушей к носу, — нос у него большой и загнут, точно у попугая.

Камни как будто окованы серебром, но море окислило белый металл.

Солдат молод и, конечно, говорит о том, что внушают ему года, старик возражает, неохотно и, порою, сердито:

— Кто же любит в декабре? В это время уже рождаются дети...

— Н-но! Если люди молоды — они не ждут...

— Нужно ждать...

— Ты ждал?

— Я, друг мой, не был солдатом, я работал, и все, что человек должен испытать, — мною испытано в свои сроки...

— Не понимаю...

— Потом — поймешь...

Недалеко от берега в воде отражается голубой Сириус; если долго присматриваться к этому тусклому пятну на воде — рядом с ним становится виден пробковый буюк, круглый, точно голова человека,

и совершенно неподвижный.

— Отчего ты не спишь?

Старик распахнул потертый плащ, рыжий от старости, и ответил, покашливая:

— У нас поставлена сеть, видишь буй?

— А...

— Три дня тому назад сеть одной компании была сорвана и спутана...

— Дельфины?

— Зимой? Нет, конечно. Может быть, акула, тонна... кто знает?

Под ногою какого-то зверя маленький камень сорвался с горы, побежал, шелестя сухой травой, к морю и звонко разбил воду. Этот краткий шум хорошо принят молчаливой ночью и любовно выделен ею из своих глубин, точно она хотела надолго запомнить его.

Солдат тихонько напевает насмешливую песенку:

— Отчего старики плохо спят?

Догадайся, Умберто, подумай!

— Оттого, что слишком много

Пили в юности вина...

— Это не про меня сказано, — ворчливо отозвался старик.

— А еще отчего плохо спят старики?

Что ты скажешь, Бертино умный?

— Оттого, что в свое время

Не любили сколько нужно...

— Хорошая песня, дядя Пашкале?

— Ты сам узнаешь это, когда тебе минет шестьдесят... Зачем спрашивать?

Долго оба молчали согласно с миром, онемевшим в ночи, потом старик, вынув трубку, постучал ею о камень, прислушался к сухим коротким звукам и сказал:

— Вы, мальчики, смеетесь хорошо, но не знаю, так ли хорошо вы умеете любить, как любили в старину...

— Ба! Знакомая песня... Любят всегда одинаково, я думаю...

— Ты думаешь! Надо знать. Вон, за горою, живет семья Сенцамане, спроси у них историю деда Карло — это будет полезно для твоей жены.

— Что мне спрашивать незнакомых людей, если ты сам можешь рассказать эту историю...

Где-то невидимо летит ночная птица, — в воздухе трепещет особенный и странный звук — точно чем-то шерстяным торопливо отирают сухие камни.

Тьма на земле становится гуще, сырее, теплее, небо уходит выше, и всё ярче сверкают звезды в серебряном тумане Млечного Пути.

— В старину женщины ценились дороже...

— Будто? Не слышал.

— Люди часто воевали...

— Вдов оставалось много...

— Постоянно — пираты, солдаты, и почти каждые пять лет в Неаполе новые правители, — женщин надо было держать под замком.

— Это и теперь не плохо...

— Их воровали, точно кур...

— Хотя они больше похожи на лисиц...

Старик замолчал, зажег трубку, — в неподвижном воздухе повисло белое облако сладкого дыма. Вспыхивает огонь, освещая кривой темный нос и коротко остриженные усы под ним.

— Ну, что же далее? — сонно спросил солдат.

— Слушать надо молча...

В трепете Сириуса такое напряжение, точно гордая звезда хочет затмить блеск всех светил. Море осеяно золотой пылью, и это почти незаметное отражение небес немного оживляет черную, немую пустыню, сообщая ей переливчатый, призрачный блеск. Как будто из глубин морских смотрят в небо тысячи фосфорически сияющих глаз...

— Я слушаю, — нетерпеливо нарушил солдат обиженное, рыбье молчание рыбака, и не спеша, негромко, старик начал сплетать повествование о том, что все и всегда будут слушать внимательно.

— Лет сто тому назад, вон там, на горе, где густые сосны, жили греки Экеллани, горбатый старик, колдун и контрабандист, а у него

— сын Аристидо, охотник, — тогда на острове еще водились козы. В ту пору здесь самой богатой семьей были Гальярди, — теперь они носят прозвище деда

— Сенцамане, — половина виноградников была в их руках, восемь подвалов имели они и более тысячи бочек. Тогда наше белое вино ценилось даже во Франции, где, как я слышал, ничего не умеют ценить, кроме вина. Эти французы все игроки и пьяницы, они проиграли в карты сатане даже голову короля своего...

Солдат тихонько засмеялся, и, отвечая его смеху, где-то близко всплеснула вода; оба молча насторожились, вытянув шеи к морю, а от берега кольцами уходила тихая рябь.

— Это — черния пробует наживу на крючках...

— Продолжай...

— Да... Гальярди. Их было трое братьев, — история говорит о среднем, Карлоне, как его называли за огромный рот и потрясающий голос. Он выбрал себе для сердца бедную девушку Джулию, дочь кузнеца, очень умную девушку, силачи ведь не бывают умными. Что-то мешало им жениться, и они томились, ожидая дня своей свадьбы, а сын грека — не дремал, ему тоже нравилась Джулия. Он долго старался о том, чтоб она полюбила его, но не имел успеха и решил опозорить девушку, рассчитав, что Карлоне Гальярди откажется от порочной и тогда ему легко будет взять ее. В то время было строже, чем теперь...

— Н-ну, и теперь...

— Распутство — веселье богатых, а мы здесь все бедные, — сурово сказал старик и продолжал, точно себе самому напоминая прошлое:

— Однажды, когда девушка собирала срезанные ветки лоз, — сын грека, как будто оступившись, свалился с тропы над стеною ее виноградника и упал прямо к ногам ее, а она, как хорошая христианка, наклонилась над ним, чтоб узнать, нет ли ран. Стоная от боли, он просил ее:

— «Джулия, не зови людей на помощь, прошу тебя! Я боюсь, — если ревнивый жених твой увидит меня рядом с тобою — он меня убьет... Дай мне отдохнуть, я уйду...»

— Положив голову на колени ей, он притворился потерявшим сознание; а она, испуганная, закричала о помощи, но, когда

прибежали люди, — он вдруг вскочил на ноги, здоровешенек, но будто бы очень смущенный, и начал кричать о своей любви, о своих честных намерениях, клялся, что прикроет позор девушки браком, — поставил дело так, словно он, утомленный ласками Джулии, заснул на коленях ее. Простодушные люди поверили ему, несмотря на гнев девушки, забыв о том, что ведь она сама звала на помощь, — никто не знал, что характер грека зовется хитростью. Греков крестил чёрт для того, чтобы лучше запутать все дела христиан. Девушка клянется, что грек — лжет, а он убеждает людей, что Джулии стыдно признать правду, что она боится тяжелой руки Карлоне; он одолел, а девушка стала как безумная, и все пошли в город, связав ее, потому что она кидалась на людей с камнем в руке. А Карлоне уже услышал ее крики, бросился встичу ей, но когда ему сказали, что случилось, он упал на колени среди толпы, потом вскочил и ударил невесту свою левой рукою по лицу, а правой стал душить грека, — народ едва успел отнять его.

— Глупый был парень, — проворчал солдат.

— Ум честного человека — в сердце! Я сказал, что эта история была зимою, перед праздником рождения младенца Иисуса. Всего за несколько дней. В этот праздник у нас люди дарят друг другу от избытков своих вино, фрукты, рыбу и птиц, — все дарят и, конечно, больше всех получают наиболее бедные. Я не помню, как узнал Карлоне правду, но он ее узнал, и вот в первый день праздника отец и мать Джулии, не выходявшие даже и в церковь, — получили только один подарок: небольшую корзину сосновых веток, а среди них отрубленную кисть левой руки Карлоне Гальярди, — кисть той руки, которой он ударил Джулию. Они — вместе с нею — в ужасе бросились к нему, Карлоне встретил их, стоя на коленях у двери его дома, его рука была обмотана кровавой тряпкой, и он плакал, точно ребенок.

— «Что ты сделал с собою?» — спросили его.

— Он ответил:

— «Я сделал то, что следовало: человек, оскорбивший мою любовь, не может жить, — я его убил... Рука, ударившая безвинно мою возлюбленную, оскорбила меня, я ее отсек... Я хочу теперь, чтоб ты, Джулия, простила меня, ты и все твои...»

— Они-то, конечно, простили его, но есть закон и для защиты

негодяев — два года сидел Гальярди в тюрьме за грека, и очень дорого стоило братьям вытащить из нее Карлоне...

— Потом он женился на Джулии и хорошо жил с нею до старости, создав на острове новую фамилию — Безруких — Сенцамане...

Старик замолчал, усиленно раскуривая трубку.

— Не нравится мне эта история, — тихо сказал солдат.

— Этот твой Карлоне — дикарь... И глупо всё...

— Твоя жизнь через сто лет тоже покажется глупостью, — внушительно проговорил старик и, выпустив большой клуб белого во тьме дыма, прибавил:

— Если только кто-нибудь вспомнит, что ты жил на земле...

Снова в тишине раздался плеск воды, теперь сильный и торопливый; старик сбросил плащ, быстро встал на ноги и скрылся, точно упал в черную воду, оживленную у берега светлыми точками ряби, синеватой, как серебро рыбьей чешуи.

XXIV

С поля в город тихо входит ночь в бархатных одеждах, город встречает ее золотыми огнями; две женщины и юноша идут в поле, тоже как бы встречая ночь; вслед им мягко стелется шум жизни, утомленной трудами дня.

Тихо шаркают три пары ног по темным плитам древней дороги, мощенной разноплеменными рабами Рима; в теплой тишине ласково и убедительно звучит голос женщины:

— Не будь суров с людьми...

— Разве ты, мама, замечала за мной это? — вдумчиво спрашивает юноша.

— Ты слишком горячо споришь...

— Горячо люблю мою правду...

С левой руки юноши идет девушка, щелкая по камню деревянными башмаками, закинув, точно слепая, голову в небо, — там горит большая вечерняя звезда, а ниже ее — красноватая полоса зари, и два тополя врезались в красное, как незажженные факелы.

— Социалистов часто сажают в тюрьму, — вздохнув, говорит мать.

Сын спокойно отвечает:

— Перестанут. Это ведь бесполезно...

— Да, но пока...

— Нет и не будет сил, которые могли бы убить молодое сердце мира...

— Это — слова для песни, сынок...

— Миллионы голосов поют эту песню, и все более внимательно слушает ее вся жизнь! Вспомни-ка: разве ты прежде так терпеливо и ласково слушала меня или Паоло, как слушаешь теперь?

— Да? Да, — но вот стачка принудила тебя уйти из родного города...

— Он мал для двоих, пусть остается Паоло. А стачку мы выиграли...

— Выиграли! — звучно откликнулась девушка. — Ты и Паоло...

Не кончив, она тихонько смеется, потом с минуту все идут молча. Навстречу им выдвигается, поднимаясь с земли, темный

холм, — развалины какого-то здания, — над ним задумчиво опустил тонкие ветви ароматный эвкалипт, и, когда они трое поравнялись с деревом, ветви его как будто тихо вздрогнули.

— Вот — Паоло, — говорит девушка.

Черная высокая фигура отделилась от развалин и стоит среди дороги.

— Сердцем увидела? — спросил юноша, смеясь.

Впереди звучит эхом:

— Идешь?

— Да. Вот тебе — мои. Не провожайте меня дальше, не нужно! У меня всего пять часов пути до Рима, и я ведь намеренно пошел пешком, чтоб собраться в дороге с мыслями...

Остановились... Высокий снял шляпу и говорит надорванным голосом:

— Ты можешь быть спокоен за мать и сестру. Всё будет хорошо!

— Я знаю. До свидания, мама!

Она всхлипывает, стонет тихонько, потом звучат три крепких поцелуя и мужественный голос:

— Иди домой и спокойно отдыхай, поволновалась ты за эти буйные дни! Иди, всё будет хорошо! Паоло такой же сын тебе, как я! Ну, сестренка...

Снова поцелуи и сухой шорох ног по камням, — чуткая ночная тишина отражает все звуки, как зеркало.

Четыре фигуры, окутанные тьмою, плотно слились в одно большое тело и долго не могут разъединиться. Потом молча разорвались: трое тихонько поплыли к огням города, один быстро пошел вперед, на запад, где вечерняя заря уже погасла и в синем небе разгорелось много ярких звезд.

— Прощай! — тихо и печально раздается в ночи.

Издали откликнулся бодрый голос:

— Прощай! Не грусти, скоро увидимся...

Сухо стучат деревянные башмаки девушки, сиповатый голос говорит утешающие слова:

— Он не пропадет, донна Филомена, можете верить в это, как в милость вашей мадонны! У него — хороший ум, крепкое сердце, он сам умеет любить и легко заставляет других любить его... А любовь к людям — это ведь и есть те крылья, на которых человек

поднимается выше всего...

Город всё обильней сеет во тьму свои скромные, бледные огни; слова высокого человека тоже сверкают, как искры.

— Когда человек несет в сердце своем слово, объединяющее мир, он везде найдет людей, способных оценить его, — везде!

У городской стены прижался к ней, присел на землю низенький, белый кабачок и призывно смотрит на людей квадратным оком освещенной двери. Около нее, за тремя столиками, шумят темные фигуры, стонут струны гитары, нервно дрожит металлический голос мандолины.

Когда трое поравнялись с дверью, музыка замолкла, голоса стали тише, несколько фигур поднялось.

— Добрый вечер, товарищи! — сказал высокий.

И десяток голосов ответил радостно, дружески:

— Добрый вечер, Паоло, товарищ! К нам? Стакан вина?

— Нет... Благодарю!

Мать, вздохнув, сказала:

— И тебя очень любят все наши...

— Наши, донна Филомена?

— Э, не смейся... Не чужая своему народу говорит с тобой... Все любят вас: тебя и его...

Высокий взял девушку под руку, говоря:

— Все и — еще одна. Так?

— Да, — тихо сказала девушка. — Конечно...

Тогда мать рассмеялась негромко:

— Ах, дети!.. Слушаешь вас, смотришь и — веришь: да, вы станете жить лучше, чем жили мы...

И все трое рядом скрылись в улице города, узкой и растрепанной, как рукав старой, изношенной одежды...

XXV

С утра шумно и обильно лился дождь, но к полудню тучи иссякли, их темная ткань истончилась, и, разорванную на множество дымных кусков, ветер угнал ее в море, а там она вновь плотно свилась в синевато-сизую массу, положив густую тень на море, успокоенное дождем.

На востоке небо темно, в темноте рыщут молнии, а над островом ослепительно пылает великолепное солнце.

Если смотреть на остров издали, с моря, он должен казаться подобным богатому храму в праздничный день: весь чисто вымыт, щедро убран яркими цветами, всюду сверкают крупные капли дождя — топазами на желтоватом молодом листе винограда, аметистами на гроздьях глициний, рубинами на кумаче герани, и точно изумруды всюду на траве, в густой зелени кустарника, на листве деревьев.

Тихо, как всегда бывает тотчас после дождя; чуть слышен тонкий звон ручья, невидимого среди камней, под корнями молочая, ежевики и пахучего, запутанного ломоноса. Внизу мягко звучит море.

Золотые стрелы дрока поднялись в небо и качаются тихонько, отягченные влагой, бесшумно стряхивая ее с причудливых своих цветов.

На сочном фоне зелени горит яркий спор светло-лиловых глициний с кровавой геранью и розами, рыжевато-желтая парча цветов молочая смешана с темным бархатом ирисов и левкоев — всё так ярко и светло, что кажется, будто цветы поют, как скрипки, флейты и страстные виолончели.

Влажный воздух душист и хмелен, как старое, крепкое вино.

Под серой скалою, расколотою, изорванной взрывами, покрытой в трещинах жирными окисями железа, среди желтых и серых камней, от которых льется кисловатый запах динамита, сидят, обедая, четверо каменоломов, — крепкие мужики в мокрых лохмотьях, в кожаных лаптях.

Не спеша, они вкусно едят из большой тарелки крепкое мясо спрута, зажаренного с картофелем и помидорами в оливковом

масле, и пьют поочередно красное вино из горлышка бутылки.

Двое из них — бритые и похожие друг на друга, как братья, — кажется даже, что они близнецы; один — маленький, кривой и колченогий, напоминает суетливыми движениями сухого тела старую ощипанную птицу; четвертый широкоплечий, бородатый и горбоносый человек средних лет, сильно седой.

Отламывая большие куски хлеба, он расправляет ими усы, мокрые от вина, и, вложив кусок в темный рот, говорит, мерно двигая волосатыми челюстями:

— Это — сказки, это — ложь! Ничего страшного я не сделал...

Его карие глаза смотрят из-под густых бровей невесело, насмешливо; голос у него тяжелый, сиплый, речь медленна и неохотна. Шляпа, волосатое разбойничье лицо, большие руки и весь костюм синего сукна обрызганы белой каменной мукою, — очевидно, это он сверлит в скале скважины для зарядов.

Трое товарищей слушают его внимательно, не перебивая, но поочередно заглядывают в глаза ему, как бы говоря:

«Продолжай...»

Он рассказывает, двигая седыми бровями:

— Этот человек — его звали Андреа Грассо — пришел к нам в деревню ночью, как вор; он был одет нищим, шляпа одного цвета с сапогами и такая же рваная. Он был жаден, бесстыден и жесток. Через семь лет старики наши первые снимали перед ним шляпы, а он им едва кивал головою. И все, на сорок миль вокруг, были в долгах у него.

— Такие люди есть, — сказал колченогий, вздохнув и качая головой.

Рассказчик взглянул на него, насмешливо спросив:

— Встречал?

Старик молча махнул рукою, бритые усмехнулись оба, как один, горбоносый выпил вина и продолжал, следя за полетом сокола в синем небе:

— Мне было тринадцать лет, когда он нанял меня, вместе с другими, носить камень на постройку его дома. Он обращался с нами более безжалостно, чем с животными, и когда мой товарищ, Лукино, сказал ему это, он ответил ему: «Осел — мой, ты — чужой мне, почему я должен жалеть тебя?» Эти слова ударили меня в

сердце, я стал смотреть на него более внимательно. Он со всеми обращался нагло и цинично — старик, женщина, ему все равно, вижу я. А когда почтенные люди говорили ему, что это плохо, он возражал, смеясь в глаза им: «Когда я был беден, меня тоже не жалели». Он водил дружбу с попами, с карабинерами, полицией; остальные люди видели его только в дни горькой своей нужды, когда он мог делать с ними всё, что хотел.

— Такие люди есть, — повторил колченогий тихонько, и все трое сочувственно взглянули на него; один бритый молча протянул ему бутылку вина, старик взял ее, посмотрел на свет и сказал, перед тем как выпить:

— Пью за святое сердце мадонны!

— Он часто говаривал: «Всегда бедняки работали на богатых и глупые на умных, так и должно быть всегда».

Рассказчик усмехнулся, протянул руку к бутылке, — она была пуста. Он небрежно отбросил ее на камни, где валялись молотки, кирки и темной змеей вытянулся кусок бикфордова шнура.

— Мне, молодому тогда, и товарищам моим было особенно обидно слышать эти слова: они убивали наши надежды, наше желание лучшей жизни. Вот однажды я и Лукино, друг мой, встретив его вечером в поле, когда он не спеша ехал куда-то верхом, сказали ему вежливо, но внушительно: «Мы просим вас быть добрее к людям».

Бритые расхохотались, тихонько усмехнулся и кривой, а рассказчик шумно вздохнул.

— Да, конечно, глупо! Но молодость честна. Молодость верит в силу слова. Я скажу: молодость — это совесть всей жизни...

— Что ж он? — спросил старик.

— Он закричал нам довольно храбро: «Пустите лошадь, разбойники!» И, вынув пистолет, показывал то одному, то другому. Мы сказали: «Вам, Грассо, нечего бояться нас, не на что сердиться, мы советуем вам, и только!»

— Это хорошо! — сказал один бритый, другой согласно наклонил голову; колченогий, плотно поджав губы, стал рассматривать камень, щупая его кривыми пальцами.

Они кончили есть. Один сбивал тонким прутом стеклянные капли воды со стеблей трав, другой, следя за ним, чистил зубы сухой

былинкой. Становится всё более сухо и жарко. Быстро тают короткие тени полудня. Тихо плещет море, медленно течет серьезный рассказ:

— Эта встреча плохо отозвалась на судьбе Лукино, — его отец и дядя были должниками Грассо. Бедняга Лукино похудел, сжал зубы, и глаза у него не те, что нравились девушкам. «Эх, — сказал он мне однажды, — плохо сделали мы с тобой. Слова ничего не стоят, когда говоришь их волку!» Я подумал: «Лукино может убить». Было жалко парня и его добрую семью. А я одинокий, бедный человек. Тогда только что померла моя мать.

Горбоносый камнелом расправил усы и бороду белыми, в известке, руками, — на указательном пальце его левой руки светлый серебряный перстень, очень тяжелый, должно быть.

— Мой поступок мог быть полезен людям, если б я сумел довести дело до конца, но у меня мягкое сердце. Однажды я, встретив Грассо на улице, пошел рядом с ним, говоря, как мог, кротко: «Вы человек жадный и злой, людям трудно жить с вами, вы можете толкнуть кого-нибудь под руку, и эта рука схватит нож. Я говорю вам: уходите от нас прочь, уезжайте».

— «Ты глуп, малый!» — сказал он, но я стоял на своем. Он спросил, смеясь: «Сколько тебе дать, чтоб ты оставил меня в покое, — лиру, довольно?» Это было обидно, но я сдержался. «Уходите, говорю вам!» Я шел плечо в плечо с ним, с правой стороны. Он, незаметно, достал нож и ткнул меня им.левой рукою немного сделаешь, он и проткнул мне грудь на дюйм. Конечно, я бросил его на землю и ударил ногой, как бьют свиней. «Итак, ты уйдешь!» — сказал я ему, когда он ползал по земле.

Оба бритые взглянули на рассказчика недоверчиво и опустили глаза. Колченогий, согнувшись, перевязывал кожаные ремни обуви.

— Утром, когда я еще спал, пришли карабинеры и отвели меня к маршалу, куму Грассо. «Ты честный человек, Чиро, — сказал он, — ты ведь не станешь отрицать, что в эту ночь хотел убить Грассо». Я говорил, что это еще неправда, но у них свой взгляд на такие дела. Два месяца я сидел в тюрьме до суда, а потом меня приговорили на год и восемь. «Хорошо, — сказал я судьям, — но я не считаю дело конченным!»

Он достал из камней непочатую бутылку и, сунув горло ее в усы

себе, долго тянул вино; его волосатый кадык жадно двигался, борода оцетинилась. Три пары глаз молча и строго следили за ним.

— Скучно говорить об этом, — сказал он, передавая бутылку товарищам и разглаживая обрызганную бороду.

— Когда я вернулся в деревню, было ясно, что мне нет места в ней: все меня боялись. Лукино рассказал, что жить стало еще хуже за этот год. Он был скучен, как головня, бедняга. «Так», — подумал я и пошел к этому Грассо; он очень испугался, увидав меня. «Ну, я вернулся, — сказал я, — теперь уходи ты!» Он схватил ружье, выстрелил, но оно было заряжено на птицу дробью, а стрелял он мне в ноги. Я даже не упал. «Если б ты меня и убил, я пришел бы к тебе из могилы, я дал клятву мадонне, что выживу тебя отсюда. Ты упрям, я — тоже». Мы схватились, и тут я, нечаянно, сломал ему руку. Я этого не хотел, он первый бросился на меня. Прибежал народ, меня взяли. На этот раз я сидел в тюрьме три года девять месяцев, а когда кончился срок, мой смотритель, человек, который знал всю эту историю и любил меня, очень уговаривал не возвращаться домой, а идти в работники, к его зятю, в Апулию, — там у зятя много земли и виноградник. Но, конечно, я уже не мог отказаться от начатого. Я шел домой с твердым намерением не болтать больше лишних слов, я уже понял тогда, что из десяти — лишних девять. У меня в сердце было одно: «Уходи!» Я пришел в деревню как раз в воскресенье, прямо к мессе, в церковь. Грассо был там, он сразу увидел меня, вскочил на ноги и стал кричать на всю церковь: «Этот человек явился убить меня, граждане, его прислал дьявол по душу мою!» Меня окружили раньше, чем я дотронулся до него, раньше, чем успел сказать ему что надо. Но — всё равно, он свалился на плиты пола, — его разбил паралич так, что отнялась вся правая сторона и язык. Умер он через семь недель после этого... Вот и всё. А люди создали про меня какую-то сказку... Очень страшно, но — все неправда.

Он усмехнулся, взглянул на солнце и сказал:

— Пора начинать...

Трое людей, молча и не спеша, поднялись на ноги, горбоносый уставился глазами в рыжие жирные щели скалы и повторил:

— Будем работать...

Солнце в зените, и все тени сожжены им.

Облака на горизонте опустились в море, вода его стала еще спокойнее и синей.

XXVI

Пепе — лет десять, он хрупкий, тоненький, быстрый, как ящерица, пестрые лохмотья болтаются на узких плечах, в бесчисленные дыры выглядывает кожа, темная от солнца и грязи.

Он похож на сухую былинку, — дует ветер с моря и носит ее, играя ею, — Пепе прыгает по камням острова, с восхода солнца по закат, и ежечасно откуда-нибудь льется его неутомимый голосишко:

*Италия прекрасная,
Италия моя!..*

Его всё занимает: цветы, густыми ручьями текущие по доброй земле, ящерицы среди лиловатых камней, птицы в чеканной листве олив, в малахитовом кружеве виноградника, рыбы в темных садах на дне моря и форестьеры на узких, запутанных улицах города: толстый немец, с расковырянным шпагою лицом, англичанин, всегда напоминающий актера, который привык играть роль мизантропа, американец, которому упрямо, но безуспешно хочется быть похожим на англичанина, и неподражаемый француз, шумный, как погремушка.

— Какое лицо! — говорит Пепе товарищам, указывая всевидящими глазами на немца, надутого важностью до такой степени, что у него все волосы дыбом стоят. — Вот лицо, не меньше моего живота!

Пепе не любит немцев, он живет идеями и настроениями улицы, площади и темных лавочек, где свои люди пьют вино, играют в карты и, читая газеты, говорят о политике.

— Нам, — говорят они, — нам, бедным южанам, ближе и приятнее славяне Балкан, чем добрые союзники, наградившие нас за дружбу с ними песком Африки.

Всё чаще говорят это простые люди юга, а Пепе всё слышит и всё помнит.

Скучно, ногами, похожими на ножницы, шагает англичанин, — Пепе впереди его и напевает что-то из зауспокойной мессы или

печальную песенку:

*Мой друг недавно умер,
Грустит моя жена...
А я не понимаю,
Отчего она так грустна?*

Товарищи Пепе идут сзади, кувыркаясь со смеха, и прячутся, как мыши, в кусты, за углы стен, когда форестьер посмотрит на них спокойным взглядом выцветших глаз.

Множество интересных историй можно рассказать о Пепе.

Однажды какая-то синьора поручила ему отнести в подарок подруге ее корзину яблок своего сада.

— Заработаешь сольдо! — сказала она. — Это ведь не вредно тебе...

Он с полной готовностью взял корзину, поставил ее на голову себе и пошел, а воротился за сольдо лишь вечером.

— Ты не очень спешил! — сказала ему женщина.

— Но все-таки я устал, дорогая синьора! — вздохнув, ответил Пепе. Ведь их было более десятка!

— В полной до верха корзине? Десяток яблок?

— Мальчишек, синьора.

— Но — яблоки?

— Сначала — мальчишки: Микеле, Джованни...

Она начала сердиться, схватила его за плечо, встряхнула.

— Отвечай, ты отнес яблоки?

— До площади, синьора! Вы послушайте, как хорошо я вел себя: сначала я вовсе не обращал внимания на их насмешки, — пусть, думаю, они сравнивают меня с ослом, я всё стерплю из уважения к синьоре, — к вам, синьора. Но когда они начали смеяться над моей матерью, — ага, подумал я, ну, это вам не пройдет даром. Тут я поставил корзину, и — нужно было видеть, добрая синьора, как ловко и метко попадал я в этих разбойников, — вы бы очень смеялись!

— Они растащили мои плоды?! — закричала женщина.

Пепе, грустно вздохнув, сказал:

— О нет. Но те плоды, которые не попали в мальчишек,

разбились о стены, а остальные мы съели, после того как я победил и помирился с врагами...

Женщина долго кричала, извергая на бритую голову Пепе все проклятия, известные ей, — он слушал ее внимательно и покорно, время от времени прищелкивая языком, а иногда, с тихим одобрением, восклицая:

— О-о, как сказано! Какие слова!

А когда она, устав, пошла прочь от него, он сказал вслед ей:

— Но, право, вы не беспокоились бы так, если б видели, как метко попадал я прекрасными плодами вашего сада в грязные головы этих мошенников, — ах, если б вы видели это! — вы дали бы мне два сольдо вместо обещанного одного!

Грубая женщина не поняла скромной гордости победителя, — она только погрозила ему железным кулаком.

Сестра Пепе, девушка много старше, но не умнее его, поступила прислугой — убирать комнаты — на виллу богатого американца. Она сразу же стала чистенькой, румяной и, на хороших хлебах, начала заметно наливать здоровьем соком, как груша в августе.

Брат спросил ее однажды:

— Ты ешь каждый день?

— Два и три раза, если хочу, — с гордостью ответила она.

— Пожалела бы зубы! — посоветовал ей Пепе и задумался, а потом спросил снова:

— Очень богат твой хозяин?

— Он? Я думаю — богаче короля!

— Ну, оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозяина?

— Это трудно сказать.

— Десять?

— Может быть, больше...

— Поди-ка, принеси мне одни не очень длинные и теплые, — сказал Пепе.

— Зачем?

— Ты видишь — какие у меня?

Видеть это было трудно, — от штанов Пепе на ногах его оставалось совсем немного.

— Да, — согласилась сестра, — тебе необходимо одеться! Но он

ведь может подумать, что мы украли?

Пепе внушительно сказал ей:

— Не нужно считать людей глупее нас! Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка!

— Ведь это песня! — не соглашалась сестра, но Пепе быстро уговорил ее, а когда она принесла в кухню хорошие брюки светло-серого цвета и они оказались несколько длиннее всего тела Пепе, он тотчас догадался, как нужно сделать.

— Дай-ка нож! — сказал он.

Вдвоем они живо превратили брюки американца в очень удобный костюм для мальчика: вышел несколько широковатый, но уютный мешок, он придерживался на плечах веревочками, их можно было завязывать вокруг шеи, а вместо рукавов отлично служили карманы.

Они устроили бы еще лучше и удобнее, но им помешала в этом супруга хозяина брюк: явилась в кухню и начала говорить самые грубые слова на всех языках одинаково плохо, как это принято американцами.

Пепе ничем не мог остановить ее красноречие, он морщился, прикладывал руку к сердцу, хватался в отчаянии за голову, устало вздыхал, но она не могла успокоиться до поры, пока не явился ее муж.

— В чем дело? — спросил он.

И тогда Пепе сказал:

— Синьор, меня очень удивляет шум, поднятый вашей синьорой, я даже несколько обижен за вас. Она, как я понял, думает, что мы испортили брюки, но уверяю вас, что для меня они удобны! Она, должно быть, думает, что я взял последние ваши брюки и вы не можете купить других...

Американец, спокойно выслушав его, заметил:

— А я думаю, молодчик, что надобно позвать полицию.

— Да-а? — очень удивился Пепе. — Зачем?

— Чтобы тебя отвели в тюрьму...

Это очень огорчило Пепе, он едва не заплакал, но сдержался и сказал с достоинством:

— Если это вам нравится, синьор, если вы любите сажать людей в тюрьму, то — конечно! Но я бы не сделал так, будь у меня много

брюк, а у вас ни одной пары! Я бы дал вам две, пожалуй — три пары даже; хотя три пары брюк нельзя надеть сразу! Особенно в жаркий день...

Американец расхохотался; ведь иногда и богатому бывает весело.

Потом он угощал Пепе шоколадом и дал ему франк.

Пепе попробовал монету зубом и поблагодарил:

— Благодарю вас, синьор! Кажется, монета настоящая?

Всего лучше Пепе, когда он один стоит где-нибудь в камнях, вдумчиво разглядывая их трещины, как будто читая по ним темную историю жизни камня. В эти минуты живые его глаза расширены, подернуты красивой пленкой, тонкие руки за спиной и голова, немножко склоненная, чуть-чуть покачивается, точно чашечка цветка. Он что-то мурлычет тихонько, — он всегда поет.

Хорош он также, когда смотрит на цветы, — лиловыми ручьями льются по стене глицинии, а перед ними этот мальчик вытянулся струною, будто вслушиваясь в тихий трепет шелковых лепестков под дыханием морского ветра.

Смотрит и поет:

— *Фиорино-о... фиорино-о...*

Издали, как удары огромного тамбурина, доносятся глухие вздохи моря. Играют бабочки над цветами, — Пепе поднял голову и следит за ними, щурясь от солнца, улыбаясь немножко завистливой и грустной, но все-таки доброй улыбкой старшего на земле.

— Чо! — кричит он, хлопая ладонями, пугая изумрудную ящерицу.

А когда море спокойно, как зеркало, и в камнях нет белого кружева прибоя, Пепе, сидя где-нибудь на камне, смотрит острыми глазами в прозрачную воду: там, среди рыжеватых водорослей, плавно ходят рыбы, быстро мелькают креветки, боком ползет краб. И в тишине, над голубою водой, тихонько течет звонкий, задумчивый голос мальчика:

О море... море...

Взрослые люди говорят о мальчике:

— Этот будет анархистом!

А кто подобрей, из тех, что более внимательно присматриваются друг ко другу, — те говорят иначе:

— Пепе будет нашим поэтом...

Пасквалино же, столяр, старик с головою, отлитой из серебра, и лицом, точно с древней римской монеты, мудрый и всеми почитаемый Пасквалино говорит свое:

— Дети будут лучше нас, и жить им будет лучше!

Очень многие верят ему.

XXVII

В безлунную ночь страстной субботы по окраинам города, в узких щелях улиц медленно ходит женщина в черном плаще, лицо ее прикрыто капюшоном и не видно, обильные складки широкого плаща делают ее огромной, идет она молча и кажется немым воплощением неисчерпаемой скорби.

За нею столь же медленно, тесной кучей — точно одно тело — плывут музыканты, — медные трубы жутко вытянуты вперед, просительно подняты к темному небу и рычат, вздыхают; гнусаво, точно невыспавшиеся монахи, поют кларнеты, и, словно старый злой патер, гудит фагот; мстительно жалуется корнет-а-пистон, ему безнадежно вторят валторны, печально молится баритон, и, охая, глухо гудит большой барабан, отбивая такт угрюмого марша, а вместе с дробной, сухой трелью маленького сливается шорох сотен ног по камням.

Тускло блестит медь желтым, мертвым огнем, люди, опоясанные ею, кажутся чудовищно странными; инструменты из дерева торчат, как хоботы, группа музыкантов, точно голова огромного черного змея, чье тело тяжело и черно влачится в тесных улицах среди серых стен.

Иногда это странное шествие ночью последних страданий Христа изливается на маленькую площадь неправильных очертаний, — эти площади, точно дыры, протертые временем в каменной одежде города, — потом снова все втиснуто в щель улицы, как бы стремясь раздвинуть ее, и не один час этот мрачный змей, каждое кольцо которого — живое тело человека, ползает по городу, накрытому молчаливым небом, вслед за женщиной, возбуждающей странные догадки.

Немая и черная, словно окована непобедимой печалью, она что-то ищет в ночи, уводя воображение глубоко во тьму древних верований, напоминая Изиду, потерявшую брата-мужа, растерзанного злым Сетом-Тифоном, и кажется, что от ее непонятной фигуры исходит черное сияние, облекая всё жутким мраком давно пережитого и воскресшего в эту ночь, чтобы пробудить мысль о близости человека к прошлому.

Траурная музыка гулко бьет в окна домов, вздрагивают стекла, люди негромко говорят о чем-то, но все звуки стираются глухим шарканьем тысяч ног о камни мостовой, — тверды камни под ногами, а земля кажется непрочной, тесно на ней, густо пахнет человеком, и невольно смотришь вверх, где в туманном небе неярко блестят звезды.

Но — вот вдали, на высокой стене, на черных квадратах окон вспыхнуло отражение красного огня, вспыхнуло, исчезло, загорелось снова, и по толпе весенним вздохом леса пронесся подавленный шепот:

— Идут, идут...

Там, впереди, родился и начал жить, возрастая, другой шум — более светлый, там всё ярче разгорается огонь; эта женщина пошла вперед как будто быстрее, и толпа оживленнее хлынула за нею, даже музыка будто на секунду потеряла темп — смялись, спутались звуки, и смешно высоко свистнула, заторопившись, флейта, вызвав негромкий смех.

И тотчас же, как-то вдруг, по-сказочному неожиданно — пред глазами развернулась небольшая площадь, а среди нее, в свете факелов и бенгальских огней, две фигуры: одна — в белых длинных одеждах, светловолосая, знакомая фигура Христа, другая — в голубом хитоне — Иоанн, любимый ученик Иисуса, а вокруг них темные люди с огнями в руках, на их лицах южан какая-то одна, всем общая улыбка великой радости, которую они сами вызвали к жизни и гордятся ею.

Христос — тоже веселый, в одной руке он держит орудие казни своей, всё в цветах, быстро размахивая другою, он что-то говорит, Иоанн — смеется, закинув кудрявую голову, юный, безбородый, красивый, как Дионис.

Толпа вылилась на площадь потоком масла и как-то сразу образовала круг, и вот эта женщина — черная, как облачная ночь, — вдруг вся, как бы поднявшись на воздух, поплыла ко Христу, а подойдя почти вплоть к нему, остановилась, сбросила капюшон с головы, и облаком опустился плащ к ногам ее.

Тогда, в веселом и гордом трепете огней, из-под капюшона поднялась и засверкала золотом пышных волос светозарная голова мадонны, а из-под плаща ее и еще откуда-то из рук людей,

ближайших к матери бога, всплескивая крыльями, взлетели в темный воздух десятки белых голубей, и на минуту показалось, что эта женщина в белом, сверкающем серебром платье и в цветах, и белый, точно прозрачный Христос, и голубой Иоанн — все трое они, такие удивительные, нездешние, поплыли к небу в живом трепете белых крыльев голубиных, точно в сонме херувимов.

— Gloria, madonna, gloria!^[10] — тысячью грудей грянула черная толпа, и мир изменился: всюду в окнах вспыхнули огни, в воздухе простерлись руки с факелами в них, всюду летели золотые искры, горело зеленое, красное, фиолетовое, плавали голуби над головами людей, все лица смотрели вверх, радостно крича:

— Слава, мадонна, слава!

Колебались в отблесках огней стены домов, изо всех окон смотрели головы детей, женщин, девушек — яркие пятна праздничных одежд расцвели, как огромные цветы, а мадонна, облитая серебром, как будто горела и таяла, стоя между Иоанном и Христом, — у нее большое розовое и белое лицо, с огромными глазами, мелко завитые, золотые волосы на голове, точно корона, двумя пышными потоками они падают на плечи ее. Христос смеется, звонко и весело, как и следует воскресшему, синеглазая мадонна, улыбаясь, качает головою, а Иоанн взял факел и, размахивая им в воздухе, брызжет огнем, — он еще совсем мальчик и, видимо, очень любит шалости — такой тонкий, остроглазый и ловкий, точно птица.

Они все трое смеются тем непобедимым смехом, который возможен только под солнцем юга, на берегах веселого моря, и смеются люди, заглядывая в их лица, — праздничные люди, которые изо всего умеют сделать красивое зрелище, а сами — красивейшее.

Конечно — тут дети, они мечутся по земле около трех фигур, как белые птицы в воздухе над ними, и кричат звонко, радостно, возбужденно:

— Gloria, madonna, gloria!

Старухи — молятся: смотрят на эту троицу, прекрасную, как сон, и, зная, что Христос — столяр из улицы Пизакане, Иоанн — часовщик, а мадонна — просто Аннита Брагалья, золотошвейка, — старухи очень хорошо знают всё это и — молятся, шепчут увядшими

губами хорошие слова благодарности мадонне за всё, за всё... и больше всего за то, что она есть...

Где-то торжественно поют, и невольно вспоминаешь старую, знакомую песнь:

Смерти празднуем умерщвление...

Светает, в церквах веселый звон, колокола, торопливо захлебываясь, оповещают, что воскрес Христос, бог весны; на площади музыканты сдвинулись в тесное кольцо — грянула музыка, и, притопывая в такт ей, многие пошли к церквам, там тоже — органы гудят славу и под куполом летают множество птиц, принесенных людьми, чтобы выпустить их в ту минуту, когда густые голоса органа воспоют славу воскресшему богу весны.

Это славный обычай — вовлекать птиц, чистейшее из всех живых существ, в лучший праздник людей; удивительно хорошо поет сердце в тот миг, когда сотни маленьких разноперых пичужек летают по церкви, и щебечут, и поют, садясь на карнизы, статуи, залетая в алтарь.

Площадь пустеет; три светлые фигуры, взяв под руки друг друга, запели что-то, дружно и красиво, и пошли в улицу, музыканты двинулись за ними, и толпа вслед им; бегут дети, в сиянии красивых огней они — точно рассыпанные бусы кораллов, а голуби уже уселись на крышах, на карнизах и — воркуют.

И снова вспоминается хорошая песня:

«Христос воскрес...»

И все мы воскреснем из мертвых, смертью смерть поправ.

1906-1913 гг.

Примечания

- [1] Последний раз! (Итал.)
- [2] Да здравствует Италия! (Итал.)
- [3] Да здравствует Гарибальди! (Итал.)
- [4] Да здравствует социализм! (Итал.)
- [5] Да здравствует Парма! (Итал.)
- [6] О, ма, о, ма, о, mia ma-a... — О, ма, о, ма, о моя ма-а... (Итал.)
- [7] тетя (Франц.).
- [8] Фамилия папы — Сато-портной (Прим. автора).
- [9] Vaglio-o!.. — Смелее!.. (Итал.)
- [10] Слава, мадонна, слава! (Итал.)